ПЕТЕРБУРГСКИЙ СБОРНИК ◆◆ 1922

ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА
„ЛЕТОПИСЬ ДОМА ЛИТЕРАТОРОВ"

ИЗДАТЕЛЬСТВО
З. И. Гржебина.

Петербург. ◇◇ ***Москва.*** ◇◇ ***Берлин.***

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ:

Книга о Леониде Андрееве при участии **А. Блока, М. Горького, Бор. Зайцева, Евг. Замятина, Н. Телешова, К. Чуковского, Георгия Чулкова.**

Влад. Ходасевич. Счастливый домик (2 издание).

Мариэтта Шагинян. Orientalia (5 издание).

Я. Тугендхольд. Эдгар Дега и его искусство (с 50 репродукциями).

Проф. **С. П. Федоров.** Клинические лекции по хирургии 1918—1920 г.г.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Петербургский Альманах. Книга первая: **М. Горький** Старик (сцены).— **Евг. Замятин.** Север (повесть). **М. Кузмин.** София (Гностические стихотворения) —**Александр Блок.** Три стихотворения.— **Ф. Сологуб** Стихи.—**А. Ремизов.** Жизнь бесмертельная (расск.).—**Вяч. Шишков.** Крокодил.

С. Гусев-Оренбургский. Книга о еврейских погромах на Украине в 1919 году. Редакция и послесловие М. Горького.

Борис Эйхенбаум. Молодой Толстой.

Н. Гумилев. Костер (2-е издание).

Валерий Брюсов. Миг (Стихи 1920—1921 г.).

Влад Соловьев. Письма и материалы под ред. Э. Л. Радлова.

Проф. **В. Оппель.** Успехи современной хирургии.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА:

Петербург, Невский проспект № 64, кв. 3.

Москва. Знаменка, М. Знаменский, 7, кв. 36.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СБОРНИК 1922

ПОЭТЫ И БЕЛЛЕТРИСТЫ

ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА
„ЛЕТОПИСЬ ДОМА ЛИТЕРАТОРОВ“
ПЕТЕРБУРГ

Настоящее издание отпечатано в количестве четырех тысяч экземпляров в 5 Государственной типографии.

Р. В. Ц.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Жизнь возрождается. Старый быт не воскреснет; но дружной чередой, крупные и мелкие, оживают его явления и, разрозненные, напоминают о том, что немыслимо построить новое, грубо разрывая связь со старым. О таком слиянии нового и старого помышляла редакция сборника, оживляя милый старый обычай знаменовать святки той радостью, которою согревает нас общение с вдохновением поэта, с творчеством рассказчика. Хотелось при этом случае собрать в книжке, по мере возможности, всех подлинных деятелей художественного слова, пребывающих в Петербурге,—поэтов и беллетристов, маститых и начинающих. Не все удалось сделать так, как было задумано; на содержании сборника не могла не отразиться спешность его составления; представлены не все, кого хотелось бы в нем видеть, не все представлены лучшим, что они могут дать, но все-таки читатели найдут в этом сборнике некоторый обзор наличных поэтических сил Петербурга. Одно исключение допущено в нем: включен рассказ большого писателя, не так давно—и, верим мы, не надолго—покинувшего северную столицу; редакция полагала, что это отступление будет радостно принято читателями.

В ближайшем будущем, мы надеемся, нам удастся издать по тому же типу и Московский сборник.

ПОЭТЫ

ПОПРАВКА.

В некоторых экземплярах на стр. 25 при печатании выпали начальные буквы строк во второй и третьей строфах стихотворения Вл. Пяста „Колдунья". Строфы следует читать:

Она прилетала вчера
И здесь ворожила так долго,—
И вот обезводела Волга.
А я не заснул до утра.

Мою зачурала любовь,
Другою мне сердце пленила,
И—серая, редкая бровь
В нем нимб золотой заменила.

Георгий Адамович.

ПОСВЯЩЕНИЕ.

1.

Уносит в реку белый снег,—увы!
И медленно редеют острова,
И холодеет небо... Но хочу
Теперь я говорить слова такие,
Чтоб нежностью наполнился бы мир,
И чтобы долго эхом безутешным
Мои стихи носились бы... Хочу,
Чтоб через тысячи глухих веков,
Когда под крепким льдом уснет, быть может,
Наш опустелый край, в иной стране,
Иной влюбленный, тихо проходя
Над розовым, огромным, теплым морем
И глядя на закат, вдруг повторил
Твое двухсложное, простое имя,
Произнося его с трудом... И сразу,
Бледнее неба, был бы он охвачен
Мучительным и непонятным счастьем,
И полной безнадежностью, и чувством
Бессмертия земной любви...

2.

Куртку потертую с беличьим мехом
Как мне забыть?
Голос ленивый небесным ли эхом
Мне заглушить?

Ночью настойчиво бьется ненастье
В шаткую дверь,
Гасит свечу... Мое бедное счастье
Где ты теперь?

Имя тебе непонятное дали.
Ты—забытье.
Или, точнее, цианистый калий
Имя твое.

Анна Ахматова.

В тот давний год, когда зажглась любовь,
Как крест престольный в сердце обреченном.
Ты тихою голубкой не припьнула
К моей груди, но коршуном когтила,
Изменой первою—вином проклятья
Ты напоила друга своего.

Но час настал в зеленые глаза
Тебе глядеться, у жестоких губ
Молить напрасно сладостного дара
И клятв таких, каких ты не слыхала,
Каких еще никто не произнес.

Так отравивший воду родника
Для вслед за ним идущего в пустыне
Сам заблудился и, возжаждав сильно,
Источник роковой не узнает.
Он жадно пьет, припав к воде прозрачной:
Но гибелью ли жажду утолит?

1921. Декабрь.

Наталия Грушко.

1.

В КУРИЛЬНЕ.

Скучно в курильне... Народу немного;
Старый матрос из Калькутты, да я.
Будто случайно скрестились дороги
Его и моя.

Он полунаг. Здесь приличья так хрупки.
Щуря глаза, он бранит англичан.
Маленький бой приготовил нам трубки,
Маленький бой—Ли-Ю-Чан.

Полдень проносится в огненной пляске
Где-то вблизи, за саманной стеной.
Боже, как хочется счастья и ласки.
Боже ты мой.

Как надоело мотаться по свету:
Токио—Лондон, Москва и Париж.
Нет, гениальней не сыщешь поэта,
Чем вдохновенный гашиш.

Скоро мы будем как древние боги,
Старый матрос из Калькутты, да я.
Скрестятся снова наши дороги
В вечных садах небытья.

2.

БАЛЕРИНА.

Кто не помыслил об измене
Своей любовнице, Мечте,
Когда, как вихрь, я мчусь по сцене
В диагональном fouetté.

Или в капризах арабески
Ногой едва коснусь земли,
Как тень давно забытой фрески
Мне рукоплещут короли.

И, словно серые вороны,
У парапета темных лож,
Следят обманутые жены
Мою ликующую ложь.

Кто-ж не помыслит об измене
Своей любовнице, Мечте,
Когда, как вихрь, я мчусь по сцене
В диагональном fouetté.

В. Зоргенфрей.

Л И Л И Т.

1.

В пределы предначертанного круга
Вступают две согласные судьбы...
Ты слушаешь, как северная вьюга
Раскачивает гулкие столбы.

Искрится шелк волос твоих зловеще
И, гневное молчание храня,
Ты смотришь на бессмысленные вещи,—
На ржавый снег, на сосны, на меня.

Тоска моей размеренной дремоты—
Как давний сон. И кровь во мне стучит.
Я ждал тебя. Не спрашиваю, кто ты,
Любимая. Я знаю—ты Лилит.

Темнее взор. Зрачек атласный шире.
Печальнее надменные уста—
Да, ты одна. Одна в пустынном мире.
И за тобою смертная черта.

Усмешкою смыкаются ресницы,
На лоб скользнула шелковая прядь—
Вот только эти траурные птицы
Над озером. О чем они опять?

2.

Летний сумрак славит Бога.
Небо зноем не томит.
Милосердная дорога
Привела меня к Лилит.

Дремлют шелковые птицы,
Стынут стрелы хрусталя,
Под ногою у царицы
Темнокрылая земля.

Улыбнется—день зажжется,
Отвернется—кровь прольется,
Будет так, как повелит
Благосклонная Лилит.

Я целую плащ узорный
И державное кольцо,
И усмешкою покорной
Освещается лицо.

Но под царским покрывалом
Сердце легкое болит:
Об ином, о небывалом
Сумрак шепчется с Лилит.

3.

Руку жмут еще кольца колкие,
А уж сердце летит, летит...
Ну, простимся, радость недолгая,
Солнце ночи, моя Лилит.

Легок путь—без счастья и ревности.
Не одна ли мера, скажи,
И моей легкокрылой верности
И твоей беззащитной лжи?

Только плечи запомнить тонкие,
Только шелком волос вздохнуть...
В ночь, по скату, тропами ломкими
Побреду, дойду как-нибудь.

Георгий Иванов.

1.

Вздохни, вздохни еще, чтоб душу взволновать,
Печаль моя! Мы в сумерках блуждаем
И обреченные любить и умирать
Так редко о любви и смерти вспоминаем.

Над нами утренний пустынный небосклон,
Холодный луч дробится по льду...
Печаль моя, ты слышишь слабый стон:
Тристан зовет свою Изольду.

Устанет арфа петь, устанет ветер звать
И холод овладеет кровью...
Вздохни, вздохни еще, чтоб душу взволновать
Воспоминаньем и любовью.

Я умираю, друг! Моя душа черна,
И черный парус виден в море.
Я умираю, друг! Мне гибель суждена
В разувереньи и позоре.

Нам гибель суждена и погибаем мы
За губы лживые, за солнце взора,
За этот свет, и лед, и розы, что из тьмы
Струит холодная Аврора...

2.

Меня влечет обратно в край Гафиза,
Там зеленел моей Гюльнары взор,
И полночи сафировая риза
Над нами раскрывалась, как шатер.

И память обездоленная ищет
Везде, везде приметы тех полей,
Где лютня брошенная ждет, где свищет
Над вечной розой вечный соловей.

М. Кузмин.

РОЖДЕНЬЕ.

Без мук Младенец был рожден,
А мы рождаемся в мученьях,
Но дрогнет вещий небосклон,
Узнав о новых песнопеньях.

Не сладкий глас, а ярый крик
Прорежет тленную утробу.
Слепой зародыш не привык,
Что путь его—подобен гробу.

И не восточная звезда
Взвилась кровавым метеором,
Но впечатлелась навсегда
Она преображенным взорам.

Что дремлешь, ворожейный дух?
Мы — потаенны, сиры, наги...
Надвинув на глаза треух,
Бредут невиданные маги.

Сергей Нельдихен.

ИЗ ПОЭМОРОМАНА „ПРАЗДНИК".

Бирюзою перстня божьего
Небо нынче не заткнуто,—
Небо серое.

Но зато и в бурю осенью
На деревьях загорелых
Листья солнятся.

В городах во время праздника
Марш дудит солдатскошагий;
Разве весело?

Кто, гуляя в праздник по полю,
Будет петь под барабаны
И вышагивать?

Кто захочет пчел и бабочек
Променять на дым—гадюку,
Крыши жрущую?

Тоньше пойте, девки-барышни,
К нам бегите веселиться
Да отплясывать!

Ирина Одоевцева.

1.

В городе не знаешь даже, что зима,
В городе большие, серые дома,
И живут в домах расчетливые люди:
Что мы будем делать? чем мы сыты будем?

И нельзя смеяться и спокойно жить,
Надо притворяться, ссориться, грустить.
А в лесу морозно, солнечно и тихо.
Выйдет на прогулку круглая ежиха,

На снегу блестящем колыхнется тень—
Из еловой чащи выглянет олень.
Осторожно вьется рыжая лисица
И поводит носом: чем бы поживиться.

Звери корма ищут, на небо глядят,
На румяный, ясный, ледяной закат,
И в глазах их мысли тайные, простые—
И совсем небесные и совсем земные.

2.

Летят на юг соловьи
Дорогой певучей и дальной.
Улыбаются губы твои,
А сердце мое печально.

Откуда печаль моя
И позднее сожаленье:
Ведь мне улыбка твоя
Ветер с моря и птички пенье.

Ник. Оцуп.

1.

В снегу трещат костры. Январь на бивуаке.
Продрогших лошадей испарина долит.
Студеным воздухом охвачен Исаакий,
И муфтой скрыв лицо, прохожая спешит.

В театре холодно. Чтоб угодить Шекспиру,
Актеры трудятся, крича и вопия,
И все же сострадать неистовому Лиру
В тяжелых ботиках пришла любовь моя.

Что ей до сквозняков простуженной постройки?
Дыханье частое волненье выдает.
В нетопленном фойе у лимонадной стойки
Открытки и цветы старушка продает.

Нет, слава никогда не может быть забавой,
И как бы я хотел (дерзаешь ли, душа?)
Не доморощенной—великолепной славой
Покрыть себя, и пусть красавица, спеша

Спустя столетия по набережной Сены,
Прелестным профилем в подъезде промелькнет,
Чтоб для нее одной актер французской сцены
Читал моих стихов достойный перевод.

2.

Возле зеркала тяжелого
Деревянный стол стоит—
Ночь, невеста топит олово,
В чашу пристально глядит.

В чаше тени синеватые,
Пыль от вьюги снеговой,
Вот глаза продолговатые
И башлык над головой.

„Милый!“—черный снег взвивается,
Покачнулась у стола,—
Уронил ружье, шатается,
Кровь густая потекла.

Скучно зеркалу забытому
Стол и свечку отражать,
Хорошо ему, убитому,
В снежном поле ночевать.

Побледнела, улыбается,
Комната полна луной,
Паровоз перекликается
С новогодней тишиной.

Надежда Павлович.

1.

Все замерло в полнощной стуже:
Обиды и дела, и дни...
Стяни платок на шее туже,
Закрой глаза и отдохни!

Мороз охватит незаметно
И мелкая уймется дрожь;
Ты, повторяя стих заветный,
В иные звуки отойдешь.

Но, если спросят: „что сумела
Изжить ты на своем пути?“—
То в успокоенное тело
Уже не сможешь ты войти.

И в судороге униженья
Как пожелаешь ты вернуть
Короткие свои мученья,
Посильный труд и тесный путь!

2.

Осиротелый вход! Осиротелый дом!
Придет хозяин твой и загремит ключом,
На стенке тень его, на лестнице следы:
Он вышел погулять, вернется до звезды.

На улицах метель, на невских водах лед...
Топите жарче печь!—Иззябший, он придет...
Но в ночь студеную, где бродит он теперь,
До часа вашего не открывайте дверь!

Елизавета Полонская.

Смешалось все. Года войны...
Губительные дни разгрома...
И память царственной страны—
Испепеленная солома!

Но усмиряет день за днем
Слепых и помнящих обиды,
И с тайным ропотом кладем
Мы кирпичи для пирамиды.

Умрем, развеемся как прах,
Как пыль людской каменоломни,
Чтоб силой грозною в веках
Воздвигся памятник огромный.

И вот лопаты землю бьют
В ночи душистой и весенней,
И ограждает рабский труд
Стена колючих заграждений.

Вл. Пяст.

1.

КОЛДУНЬЯ.

Т. П. Л—ой.

Колдунья, чей взор роковой
Сильнее безумного взора
Поэта с душой огневой,
Живет под острогом у бора.

Она прилетала вчера
здесь ворожила так долго,—
вот обезводела Волга,
А я не заснул до утра.

Мою зачурала любовь,
Другою мне сердце пленила,
И — серая, редкая бровь
нем нимб золотой заменила.

Не здесь—ты над бором колдуй,
Колдуй над холодным острогом,—
Но в сердце мучительно-строгом
Ты мысль обо мне не задуй!

Теперь ворожеины дни,
Неделю стоит новолунье;
Колдунья, колдунья, колдунья!
Ты мысль обо мне не гони...

2.

РЕКВИЕМ ЮНОСТИ.

Мне тридцать лет. Мне тысяча столетий.
Мой вечен дух — я это знал всегда.
Тому не быть, чтоб не жил я на свете. —
Так отчего так больно мне за эти
Быстро прошедшие, последние года?

Часть Божества, замедлившая в Лете,
Лучась путем неведомым сюда,—
Таков мой мозг. — Пред кем же я в ответе
За тридцать лет на рхимнице-планете,
За тридцать долгих лет, ушедших без следа?

Часть Божества, воскресшая в поэте
В часы его священного труда,—
Таков я сам. — И мне что значат эти
Годов ничтожных призрачные сети,
Ничтожных возрастов земная череда?

За то добро, что видел я на свете,
За то, что мне горит Твоя звезда,
Что я люблю, люблю Тебя, как дети,
За тридцать лет, — за триллион столетий, -
Благодарю тебя, о, Целое, всегда.

Анна Радлова.

1.

сердце мое как в прорубь глядишь,
рестишься мелким крестом, крестись, крестись,—
ерная там некрещеная тишь.
в твоих глазах глубинной синевы
ватило бы для глубокой для синей Невы,
в большой аорте твоей сизый голубь живет,
тонет, воркует, поет—
юблю, люблю, люблю.
лупая песня птичья—
ежду болью и веселъем не знает различья.
за мною стеною стоят безглазые дни,
глушили, ослепили, убили огни,
оторыми каменные пылали города,
взлетала легкая солома ясель,
бежали потерявшие звериный разум ревущие стада,
вопила к небу человеческая страстная страда,
огда в Фригийском колпаке набекрень
бежала в открытые настежь ворота Беда,
а выжженом, на вытоптанном поле не растет ни трава
ни колос,
апрасно вся небесная, вся речная, вся твоя синева,
ессилен твоего сизого голубя голос.
ай руку, слышишь, будто сердце бьется,
от-вот замрет, нет, дальше несется—
о в груди моей горящих городов беззвучный набат.
роходи своею голубою дорогой, милый брат.

Июнь. 1921 г.

2.

Л. Д. Блок.

Молчи о любви своей и муку
Ковром узорчатым не растилай под ногами,
Не мани меня Амальфийскими садами,
Где теплые от солнца померанцы сами падают в руку.
И в францисканском монастыре вот уже семьсот лет
Колокола поют... динь-донг, динь-донг.
Нет,
Не пойду я с тобою, нету слуха
Для любимого звона и для слов любовных—
Я душою тешу Святого Духа,
Что мне в твоих муках греховных.
Глаз нет, чтобы садами любоваться,
Рук нет, чтобы с тобою обниматься,
А ночью, когда я иду по волчьей поляне, что городом
прежде была, и свищет бессилье
Ветер и беды,
За плечами моими бьются крылья
Самофракийской Победы.

Январь. 1921 г.

Всеволод Рождественский.

ЦАРСКОЕ СЕЛО.

1.

Э. Голлербаху.

Сквозь падающий снег над будкой с инвалидом
Согнул бессмертный лук чугунный кифаред;
О, Царское Село—великолепный бред,
Который некогда завещан аонидам!

Рожденный в сих садах, я тоже тайн не выдам—
И лебеди молчат, и Анненского нет,—
Я только и могу, последний твой поэт,
На звезды посмотреть, да „все простить обидам".

Столетнею хандрой и риѳмами томим,
Над круглым озером мятется лунный дым,
Зеленым хрусталем еще сквозит аллея,

И вьюга шепчет мне сквозь тонкий лыжный свист
О чем задумался, отбросив Апулея,
На бронзовой скамье курчавый лицеист.

2.

Если сквозь деревья ветром встречным,
Синей мутью память обожгло—
Хоть во сне, хоть мальчиком беспечным,
Возврати мне Царское Село!

Бронзовый мечтатель за Лицеем
Посмотрел сквозь падающий снег.
Ветер заклубился по аллеям—
Звонких лыж разорванный разбег,—

И скольжу я в лунный дым по следу,
Под горбатым мостиком, туда,
Где над черным лебедем и Ледой
Дрогнула зеленая звезда.

Не вздохнуть косматым мутным светом,
Это звезды по снегу текут,
Это за турецким минаретом
В горностаях разметался пруд.

Вот, как белка, твой пушистый голос
Сыплет снег от счастья и тоски,
Вот и варежка у лыжных полос
Бережет всю теплоту руки.

Значит близко... Только-б не проснуться,
Только бы успеть... скорей, скорей —
Губ ее снежинками коснуться,
Песнею растаять вместе с ней!

Федор Сологуб.

Бога милого, крылатого
Осторожнее зови.
Бойся пламени заклятого
Сожигающей любви.

А сойдет путем негаданным,
В разгораньи-ль ясных зорь,
Или в томном дыме ладанном,—
Покоряйся и не спорь.

Прячет лик он под личинами,
Надевает шолк на бронь,
И крылами лебедиными
Кроет острых крыл огонь.

Не дивися, не выведывай,
Из каких пришел он стран,
И не всматривайся в бредовый,
Обольстительный туман.

Горе Эльзам, чутко внемлющим
Про таинственный Грааль,—
В лодке с лебедем недремлющим
Лоэнгрин умчится в даль.

Темной тайны не разгадывай,
Не срывай его личин.
Силой Боговой иль адовой,
Все равно, он—властелин.

Пронесет тебя над бездною,
Проведет сквозь топь болот,
Цепь стальную, дверь железную
Алой розой рассечет.

Упадет с ноги сандалия,—
Скажет змею: Не ужаль!—
Из цианистого калия
Сладкий сделает миндаль.

Если скажет: Все я сделаю,—
Не проси лишь об одном:
Зевс, представши пред Семелою,
Опалил ее огнем.

Беспокровною Дианою
Любовался Актеон,
Но, оленем став, нежданою
Гибелью был поражен.

Пред законами суровыми
Никуда не убежим.
Бог приходит под покровами,
Лик его непостижим.

6 мая. 1921.

Николай Тихонов.

1.

Глухие крики, песни непростые
Земля вскормила в выбитых полях,
Над нами плыли звезды жестяные
Овечьих туч—разорванных папах.

Свивалося раздавленное слово
Гадюкою у входа в старый дом
Где каждый камень нужно было снова
Перевернуть угаданным ребром.

И, напрягая черной кровью жилы,
На рычагах сжимая кулаки,—
Мы отвели в глубокую могилу
Тяжелый ход прорвавшейся реки.

2.

Товарищ милый и безразсудный,
Разве не весело, что мы вдвоем?
И дни легкоглазы, и ночи не трудны,
Когда мы странствуем и поем.

Узлы дорог все туже и туже—
Но тебя не оставлю ветрам и дождям,
Нет! и голод, и зной, и ночлег, и ужин,
И улыбки, и стоны—все пополам.

Мы оба горды, но ты справедливей,
И глаза у тебя как добрый цветок,
Мои волосы жестче и руки ленивей
И—прости—я почти со всеми жесток.

Так наши жизни растут и крепнут—
Все больше правды, все меньше слов,
Когда же люди совсем ослепнут,
Они скажут, что ты и я—одно.

Владислав Ходасевич.

1.

СУМЕРКИ.

Снег навалил. Все затихает, глохнет.
Пустынный тянется вдоль переулка дом.
Вот человек идет. Пырнуть его ножом—
К забору прислонится и не охнет.
Потом опустится и ляжет вниз лицом.
И ветерка дыханье снеговое,
И вечера чуть уловимый дым,
Предвестники прекрасного покоя,
Свободно так закружатся над ним...
А люди черными сбегутся муравьями
Из улиц, со дворов, и станут между нами,
И будут спрашивать, за что и как убил,—
И не поймет никто, как я его любил.

2.

ЭЛЕГИЯ.

Деревья Кронверкского сада
Под ветром буйно шелестят.
Душа взыграла. Ей не надо
Ни утешений, ни услад.

Глядит бесстрашными очами
В тысячелетия свои,
Летит широкими крылами
В огнекрылатые рои.

Там все огромно и певуче,
И арфа в каждой есть руке,
И с духом дух, как туча с тучей,
Гремят на чудном языке.

Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жилье
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое.

И навсегда уж ей не надо
Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронверкского сада
Бредет в ничтожестве своем.

И не понять мне бедным слухом
И косным не постичь умом,
Каким она там будет духом,
В каком раю, в аду каком?

3.

ПОРОК И СМЕРТЬ.

Порок и смерть! Какой соблазн горит
И сколько нег вздыхает в слове малом!
Порок и смерть язвят единым жалом,
И только тот их язвы убежит,
Кто тайное хранит на сердце слово—
Утешный ключ от бытия иного.

БЕЛЛЕТРИСТЫ

Евг. Замятин.

I.

Церковь Божия.

Сказка.

Порешил Иван церковь Богу поставить. Да такую—чтоб небу жарко, чертям тошно стало, чтоб на весь мир про Иванову церковь слава пошла.

Ну, известно: церковь ставить—не избу рубить, денег надо порядочно. Пошел промышлять денег на церковь Божию.

А уж дело к вечеру. Засел Иван в логу под мостом. Час, другой—затопали копыта, катит тройка по мосту: купец проезжий.

Как высвистнет Иван Змей-Горынычем—лошади на дыбы, кучер—бряк о земь, купец в тарантасе от страху—как лист осиновый.

Упокоил кучера—к купцу приступил Иван:

— Деньги давай.

Купец—ну клясться, божиться: какие деньги?

— Да ведь на церковь, дурак: церковь хочу построить. Давай.

Купец клянется-божится: „сам построю". А-а, сам? Ну-ка?

Развел Иван костер под кустом, осенил себя крестным знамением—и стал купцу лучинкою пятки поджаривать. Не стерпел купец, открыл деньги: в правом сапоге—сто тыщ, да в левом еще сто.

Бухнул Иван поклон земной:

— Слава тебе, Господи! Теперича будет церковь.

И костер землей закидал. А купец охнул, ноги к животу подвел—и кончился. Ну что поделаешь: Бога для ведь.

Закопал Иван обоих, за упокой души помянул, а сам в город: каменьщиков нанимать, столяров, богома-

зов, золотильщиков. И на том самом месте, где купец с кучером закопаны, вывел Иван церковь—выше Ивана Великого. Кресты в облаках, маковки синие с звездами, колокола малиновые: всем церквам церковь.

Кликнул Иван клич: готова церковь Божия, все пожалуйте. Собралось народу видимо-невидимо. Сам архиерей в золотой карете приехал, а попов—сорок, а дьяконов—сорок сороков. И только это службу начали—глядь, архиерей пальцем Ивану вот так вот:

— Отчего,—говорит,—у тебя тут дух нехороший? Поди, старушкам скажи: не у себя, мол, они на лежанке, а в церкви Божией.

Пошел Иван, старушкам сказал, вышли старушки; нет: опять пахнет! Архиерей попам пальцем мигнул: заладили все сорок попов; что такое?—не помогает. Архиерей—дьяконам: замахали дьякона в сорок сороков кадил: еще пуще дух нехороший, не продохнуть, и уж явственно: не старушками—мертвой человечиной пахнет, ну просто стоять невмочь. И из церкви народ,—дьякона тишком, а попы задом: один архиерей на орлеце посреди церкви да Иван перед ним—ни жив, ни мертв.

Поглядел архиерей на Ивана—насквозь, до самого дна—и ни слова не сказал, вышел.

И остался Иван сам-один в своей церкви: все ушли, не стерпели мертвого духа.

2.

Арапы.

Сказка.

На острове на Буяне—речка. На этом берегу—наши, краснокожие, а на том—ихние живут, арапы.

Нынче утром арапа ихнего в речке поймали. Ну так хорош, так хорош: весь — филейный. Супу наварили, отбивных нажарили—да с лучком, с горчицей, с малосольным нежинским... Напитались: послал Господь!

И только было вздремнуть легли—вон, визг: нашего уволокли арапы треклятые. Туда-сюда, а уж они его освежевали и на угольях шашлык стряпают.

Наши им—через речку:

— Ах, людоеды! Ах, арапы вы этакие! Вы это что-ж это, а?

— А что?—говорят.

— Да на вас что—креста, что-ли, нету? Нашего, краснокожего, лопаете. И не совестно?

— А вы из нашего—отбивных не наделали? Энто чьи кости-то лежат?

— Ну что за безмозглые! Да-к ведь мы нашего арапа ели, а вы—нашего, краснокожего. Нешто это возможно? Вот, дай-ка, вас черти-то на том свете поджарят!

А ихние, арапы,—глазищи белые вылупили, ухмыляются да знай себе—уписывают. Ну до чего бесстыжий народ: одно слово—арапы. И уродятся же на свет этакие!

Мих. Зощенко.

Гришка Жиган.

Поймали Гришку Жигана на базаре, когда он старостину лошадь купчику уторговывал.

Ходил Гришка вокруг лошади и купцу подмигивал.

— Конь-то каков, господин купчик! Королевский конь. Лучше бы мне с голоду околеть, чем такого коня запродать. Ей-Богу, моя правда. Ну, а тут вижу, человек хороший. Хорошему человеку и продать не стыдно. Особенно если купчику благородному.

Купец смотрел на Гришкину лошадь недоверчиво. Лошадь была мужицкая — росту маленького и сама пузатая.

— А зубы-то... Зубы-то, господин купчик, каковы! Ведь это же, взгляните, королевские зубы.

Гришка приседал на корячки, ходил вокруг лошади без всякой на то нужды, даже на-земь ложился под брюхо лошади. И хвалил брюхо.

А купчик медлил и спрашивал:

— Ну, а она, Боже сохрани, не краденая?

— Краденая?!—обижался Гришка. — Эта-то лошадь краденая? У краденой лошади, господин купчик, взор не такой. Краденая лошадь завсегда глазом косит. А тут, обратите внимание, какой взор. Чистый, королевский взор. И масть у ней королевская.

— Да ты много не рассусоливай, — сказал купчик. — Ежели она есть краденая, так ты мне и скажи: краденая, мол, лошадь. А то ходят тут, говорят, вор и конокрад Гришка Жиган... Так уж не ты ли это и будешь. А? Как звать-то тебя?

— Это меня-то? Гришей меня зовут. Это точно. Да только, господин купчик, я воровством имя такое позорить не буду. На это я никогда не соглашусь... зовут, да, Гришей зовут. Могу и пачпорт вам по-

казать... Ну, что же, берете коня-то? Королевский конь. Ей Богу, моя правда.

А в это время мужички со старостой во главе подошли к базару.

— Вот он,—тонко завыл староста,—вот он, собачий хвост, вор и конокрад Гришка Жиган. Бейте его, людишки добрые!

Стоит Гришка и бежать не думает, только лицом слегка посерел. Знает: бежать нельзя. Поймают и сразу бить будут. А сгоряча бьют до смерти. Опешили мужики. Как же так — вор, а не бежит и даже из рук не рвется. Потоптались на месте, насели на Гришку и руки ему вожжей скрутили. А в городе бить человека неловко.

— Волоките его за город,—сказал староста,—покажем ему вору, сукиному сыну, как чужих коней уворовывать.

Повели Гришку за город. Прошли с полверсты.

— Буде! — остановился Фома Хромой. И пиджак скинул.

— Начнем, братишки.

Видит Гришка, дело его плохое: бить сейчас будут. А вора-конокрада бьют мужички до смерти — такой закон.

— Братцы,—сказал Гришка, — а чья земля это будет? Земля-то ведь это казенная будет. Нельзя здесь меня бить. Такого и закону нет, чтоб на казенной земле человека били. И вам до суда дело и мне вред.

Староста согласился.

— Это он верно. Затаскает судья, если, например, до смерти убьем человека. Волокем его, братишки, на село. Там и концы в воду.

Повели Гришку на село.

— Братцы, — тихо спросил Гришка, — за что же бить-то будете? Под суд меня вора и конокрада надобно. Суд дело разберет. Да только каждый суд оправдает меня. Любой суд на лошадь взглянет и оправдает. Скверная лошаденка, шут с ней совсем. От нее и радости-то никакой нет.

— Да что-ж это он, — удивился староста, — что-ж это он, православные, лошадь-то мою хает? Этакая чудная лошадь, а он хает... Ты что-ж это, хвост собачий, лошадь-то мою хаешь?

— Ей-богу, моя правда,—сказал Гришка.—Поступь у ней, посмотрите, какая. На такую лошадь и сесть противно. Как на нее только сядешь—она, дура такая, задом крутит. Шут ее знает почему, но крутит задом. От нее и болезни могут произойти: грыжа, например, болезнь... От села до базара четыре версты; всякий знает, а у меня пот градом—измучила совсем, чертова анафема. Так и крутит задом, так и крутит... Да я вам даже показать могу...

Фома Хромой подошел к Гришке и ударил его.

— Чего зубы-то заговариваешь, сука старая. Если ты есть вор, так и веди себя правильно. Не заговаривай.

Повели Гришку дальше. Уже и село близко—церковь видна.

— Братцы,—смиренно сказал Гришка,—а, братцы... А ведь бить-то меня зря будете. Все равно скоро конец свету.

Мужики шли молча.

— Вот что,—опять начал Гришка,—ходит тут такой юродивый блаженненький Иванушка-братец, не я, а он эти слова говорит. Да, говорит, будет в этих местах великое землетрясение и огненный вихорь...

— Да ну?—тихо удивился Фома Хромой.—Врешь?

— Ей-богу, моя правда. Да что мне теперь скрывать? Мне и скрывать теперь нечего. Он число назначил. Какое у нас число сегодня?

— Осьмое число,—ответили мужики.

— Осьмое. Правильно. Ну, а тут на девятое назначено. Завтра значит и будет. В полдень пожелтеет небо, настанет вихорь и град падет на землю, и град сей будет крупнейший с яйцо с куриное и даже больше... И будет бить этот град все насквозь. И человека, и скот домашний—корову, например, или курицу...

— И железо?—спросил староста.—Крыша у меня если, скажем, железная?

— Драгоценные есть ваши слова,—сказал Гришка,—и железо.

Мужики остановились.

— Ну, а попа,—спросил кто-то,—может ли, например, поп уцелеть?

— Нет,—ответил Гришка,—и поп не может уцелеть...

— А ведь это верно,—раздумчиво сказал Фома Хро-

мой,—ходила тут схимонашенка такая... Подтверждала эти слова. Только про град-то это он врет. Про град она ничего не говорила. А землетрясение это верно. И вихорь огненный.

— Ну, а что же,—спросили мужики Гришку,—что же такое делать, если, например, кто спастись хочет?...

— Да врет он,—вдруг закричал староста. — Врет ведь, собачий хвост. Зубы дуракам заговаривает. Бейте его, людишки добрые!

Мужички не двигались.

— Нельзя бить,—строго сказал Фома Хромой.—Обождать нужно. Обождем до завтра, братишки. Убить человека завсегда не поздно... Только про град-то он врет, собачий хвост. Ничего схимонашенка про такое не говорила.

— Безусловно врет,—сказал староста,—ей-богу врет. И про железо врет.

— Так завтра что-ли, Гриша, обещаешь ты?—спросил Фома Хромой.

— Завтра. Пожелтеет в полдень небо, настанет вихорь и град падет на землю, и град сей...

— Ладно,—сказали мужички,—обождем до завтрева.

Развязали Гришке руки и повели в село. А в селе заперли Гришку на старостином дворе в амбаре и караульщика приставили.

К вечеру все село знало о страшном пророчестве. Приходили бабы на старостин двор с хлебом и с яйцами, кланялись Гришке и плакали.

А у Фомы Хромого народу собралось множество Сидел Фома Хромой на лавке и говорил такое:

— Если-б не эта схимонашенка, да я бы первый сказал: врет он, собачий хвост. Ну, а тут схимонашенка... У кого еще была схимонашенка?

— У меня, Фома Васильич, была. У меня и есть,—сказала баба простоволосая,—к вечеру сижу я преспокойно... Стучит ктой-то...

— Да,—перебил Фома Хромой,—небо пожелтеет, настанет вихорь...

На завтра мужички в поле не вышли. А день был ясный.

Ходили мужички по селу, на старостин двор заходили и пересмеивались:

— Сидит еще пророк-то?

— Сидит.

— Соврал собачий хвост. Как пить дать соврал. А ведь каково складно вышло. Ах, ты дуй его горой! Такого и бить-то жалко.

И только Фома Хромой не смеялся.

Ходил Фома Хромой в одиночку, хмурился, выходил в поле и смотрел на небо.

А небо было ясное.

В полдень услышали крик на селе. Кричал Фома Хромой.

— Туча!

И точно. Из-за казенного лесу низко шла туча Была эта туча небольшая и серая. И ветер гнал ее быстро.

Все село высыпало на зады и в поля. И дивится.

— Да, туча.

Но не пожелтело небо и вихорь не настал—прошла туча над селом быстро и скрылась.

День был ясный.

Бросились мужички на старостин двор. Хвать, похвать—амбар открыт, а Гришки нету. Исчез Гришка.

А вместе с Гришкой исчез и конь старостин королевской масти.

Всев. Иванов.

Лоскутное озеро.

Рассказ.

I.

Багрово-волосые деревья метались, рвали землю. Обливали кипящей смолой весенние травы. Черной зловещей смолью мазали небо.

Горели леса.

А деревни сгорели.

Мужиков которых убили, которые—в армии. А челядишку—стариков, баб от углея привезли в камыши, к Лоскутному озеру.

Были мужики—в красных и в белых. Над теми, и над другими бабы плакали одинаково.

Утрами озером плыло алогрудое солнце.

А в камышах еще сидел Анрейша и с ним трое, другой губернии.

На поляну, к народу показываться нельзя: лысобровый старик Хрументил грозился:

— Хотя ты, Анрейша, мне и в роднях, а на глаз не лезь, донесу! Дизертеры вы раз, ну и сиди где тебе пологатся.

А полагалось сидеть в камышах.

Сидели. Четыре лошади тоже.

Горевали те трое Томской губернии, жаловались:

— Область наша Томская вся в лесах: как заполят леса, все погорит. Потом, парень, земли у нас деревянные, под пал как раз..

— Деревянный пол только!

— Лесная земля как дерево горит!.. Поди так и наши повыгорели.

Просыпались ночью они часто. Темными каряжистыми руками щупая землю, говорили тихо:

— Орет, от палов должно! . .

Прислонял ухо Анрейша: молчала для него земля.

— Дрыхните шишиги, сна на вас нету!

Думал, война покончится, жениться на Варваре. Росло у Варвары высоко над землей большое и крепкое как кедр тело.

Приносила хлеба. Голосом наливным высогрудым стонала:

— Жухлая любовь наша, Анрейша!.. Колды обогрет-то нас?.. Вечно в камышах сидеть будем?..

Ничего утешного не скажешь!

Шуршащими камышами ездил он вокруг лагеря. По-домашнему пахло оттуда лошадьми и ребятами.

„Ничего утешного не скажешь!“ И, точно каменные, жилы теснили руки. А ногу теснили, тонкие и сухие как камыш, лошадиные ребра.

Словно большие темные листья носились лагерем старухи. Шептали у колес, у палаток слова, похожие на старинные одежды—широкие и труднопонятные:

— Охлянуться уси каралевства и государства: канец!.. Как значит порешили-порезали царя белова! Пожарища захремят на три летанька, моры-поморища на все жизни до скончаний.... а мобыть осмиголовай выплывет из озер зверь залютящий!..

Плакали-голосили бабы. Гукал злобно с присвистом багровый ветер. Ночами длинными, душными как огневица, дыбилось и рвало берега озеро.

Фыркал ли на все камыши, на полсотню верст, зверь осьмиголовый, медноглазый—не знаю!

Надевал древний старик Хрумéнтил белую рубаху привезенную из Ерусалима, вздувал кадило. Вокруг лагеря кадил богородской травой, крещенским ладоном.

Голос у него как звяканье заржавленных колец:

— Пришли, бают, в Ерусалим большавики, наместо Христа-то Ленина, грит, надо, а гроп Восподен заколотить за ненадобностьями! И было тому Ленину виденья: явилась багамать и говорит: так мол и так, как ты есь Христос новай—твори чуда... Молчи-ит!

Плакали-причитали старухи.

У палатки в желтом высокогрудом платье—Варвара. Смотреть Анрейше на нее из камышей боязно до холода.

И в камыши приходил Хрументил. Нацеплял на свой седой глаз анрейшин холм, спрашивал:

— Сидите все?..

— Сидим, дедушка,—отвечали томские.

Всегда казалось Хрументилу—плачут они:

— А вы не плачьте, авось не пымают! Большавики придут ани не зарестуют, у нех, бают, в армею-то хресьян не берут... из батраков рази... опять и по добровольной выгоде!..

Шептал хрипло, прислушиваясь к шуму озера за камышами:

— Угодник туто спасался колды тоись!.. сидел туто на островах, а патом, парни, взял да и ушел в воду...

— Пошто?..

— Опять таки про ето неизвестно!.. Ево дело, а може до времяни—вот-то тута народ-то и берегся в камышах... и по сеёднешней день.

На поляне в камышах усталые тени возов и палаток.

Кислые и тягучие бежали камыши, давя друг друга, в Лоскутное озеро. Фыркали зеленые воды как утомленные кони.

Пугая гагар и уток, спотыкаясь, бродил камышами багровый ветер.

И вот однажды пришел по тропе, ведомой только своим, тонкорукий и востроглазый.

Волос у него вязкий, желтокарь, и по всему лицу как тина.

Молился он долго, взметывая широко руки точно бросая зерно. Потом поманил Хрументила. Сказал.

— По всем камышам, по всем озерам прошел я... всех оповещал, идут, старе!.. Пришел с хронта Мирон Игнатев, Смирновских волостей слепой на все глаза. Пришол, сход созвал и говорит: будет исцеленье наших мученьев, коли обойдем мы сорок раз вокруг падвижницкава Ласкутного озера... Понял? Как сказал, так на оба глаза видеть стал, Мирон-то!.. Обойти, чтобы не грешила плоть, чтобы с пастами!

— А молитва?

— Если насчет попа, насчет попа не знаю, не спрашивал. А читай молитвы кто каки умет! Главно—сорок раз обойти, чтобы плоть блюсти, поститься и толды на сороковой раз раступяться, грит, камыш и пойдет себе крещеный люд на спокойную землю.

— И бабам?

Перебрал всех вязким тинным ликом странный, сказал строго:

— Итти всем хришеным с животиною. Поститься, о грехах споминать и чтобы не блядословить! А я пойду еще ково есть в камышах оповестить.

Багровое и дикое неслось над камышами небо. Облака были на нем как подкошенные травы.

Поднялись по словам странова, на восходе, смазали телеги.

В белой ерусалимской рубахе шел Хрументил с кадильницей. Шел и гнусаво пел. Праголосно тянули девки и бабы:

— Святителю отче Николае, моли бога о нас!..

— Присветителю отче Пантилимоне моли за на-ас!

Полз из камыша комар и овод. Как пуля падал на тело и жег, рвал кровь. Хлюпали под колесом кочки.

А сторонкой, по кабаньим тропам, ехали—Анрейша и трое томских. Трое томских ехали в ряд тревожно, прислушивались высоко подымая головы на тощих шеях.

Тихо переговаривались:

— Открылись, бают, в Расеи спокойные земли... где грит, жи-и-ви...

— Хрументилу сказывали?..

— А поди так брешет—нету их по всем царствам..

Думал Анрейша: „ну кака моя любовь коли я как бревно, не свой?..“

II.

В котловине заваленные камышом нашли трупы. Один из томских, в стороне подтягивавший подпругу, крикнул:

— А вы, паре, на пальцы смотри—на пальцах у них завсегды кольца!

Свалены трупы могильным холмиком. Скинули камыш. Между одежды лежал оледеневший голубой снег.

— Краснармейцы,—сказал Анрейша,—зимусь ани кажись, отступали... а мобыть не ани... белые!

Лошади, боязливо фыркая, рвались вперед.

— Но-о, стерва!..—крикнул Анрейша и спросил:

— Разрывать будем?

— Ваняют больна, прокисли.

Томские жердью от тагана потянули за одежду. Труп со сгнившей головой упал на спину. На пальце у него Анрейша заметил желтое кольцо.

— Чур на одново!—крикнул он.

Дернул за палец и палец оборвался как раз у кольца. Анрейша вытер кольцо о сапог.

— Однако жениться мне, парни, на Варваре: кольцо-то без камня.

— На гулянку позовешь?

— Попы-то перевелись!

— Лешак их перебьет!

Анрейша поехал к лагерю и вызвал Варвару.

— Нашел, матаня, кольцо обручально!..

Слез он с лошади, зацепил чембырь за пояс и обнял Варвару. Отдавали ее крутые плечи молоком и дымом.

— Иде нашел-то?

Захохотал Анрейша:

— На камышине выросло!

Сказала Варвара строго:

— Не дури, людей не бей, грешно.

— Ево, людо-то и так хватит!

Заломался тут камыш, обернулись они—думали томские, нет—Хрументил. Губы острые как осокорь и сер—олений мох—волос. Замахал, затрясся мхом:

— Поганьщики, ироды... Люд-то за вас молиться должон? Поститься люд, себя блюдет, а они тут, на-те по камышам шаперються!

— Не ори,—сказала Варвара.

Ткнул Хрументил Варвару палкой в бок, хотел было крикнуть на него Анрейша. Но махнул рукой. Поглядела на Анрейшу Варвара, пошла.

Сказал Хрументил отчаянным голосом:

— Будет мне на старости отдых, шапники-паскудники?.. Ты тут что святому делу мешаш! Донесу инералу-то, не посмотрю, что деревенской!

Вечером сказано было—шли дабы девки и бабы помоложе в середине, а старухи их взяли в круг, берегли на пост, от греха.

Ехали впереди на возах старики и мальченки. Пели что помнили. Сидя на грядке устало кадил головой Хрументил. В конце обоза обвивали темным и зорким хороводом старухи—баб и девок, стерегли.

Плыло по Лоскутному озеру испуганное рыжеголовое солнце. Хрустели нескончаемые камыши: камыши в топях, камыши в солонцах. Может быть день, может быть два надо обойти озеро?

Вязли колеса в грязи. Вязли лошади испуганно выгибая тощее тело. Таскали камыша под колеса, толкали. Ехали дальше.

Из лесов, из равнины, из камышей еще одна за другой подходили телеги со стариками с бабами. Крестились, спрашивали торопливо, испуганно:

— Молитесь, каторой раз идете?

— Первой.

— Помогай бог!..

Дождавшись конца хода, чухали лошадей и шли последними. Крестились мелкими, как мыший бег крестами, растягивали каждое слово забытых молитв:

— Помогай бог!.. спаси и помилуй!..

Еще подходили телеги. Далеко в камышах терялась рваная шапка Хрументила, рыжая его лошадь.

Ели сухари. Пили тягучую зеленую воду, спрашивали с отчаянием:

— В каторой раз?

— Второй!

III.

Ездил Анрейша по тропам, слышал треск, храп лошадиный, а на большой путь показаться боялся. Выехал раз, метнулась к нему старуха, пронзительно закричала:

— Уйди, уйди, охальник, скройся, чтоб тебя не было! Хрументилу скажу!..

— Варвару бы мне,—попросил Анрейша.

— Нету Варвары, не искушай, идол. Молись!

— Кому?

— Молись кому хош, молись! Все молються, идут, пост!..

Часто кашляя, старуха заплакала:

— Усю грудоньку разломило, в баньке бы счас, маслица бы мне, а не дают!..

...Говорили томские про свою губернию, про сбор кедровых.

Тоскливо спросил Анрейша:

— Этак мы сколь пройдем?

— Пройдем аж до самой осени, сорок раз, ну!..

— Продухтов не хватит...

— А коли собьемся, Анрейша?

— Хрументил знат! Он на телегу зарубки делат, топором. Не собьеться.

Вода в озере цвела розово и золотисто. А камыши желтели и пахли тускло. Снизу, подымая на плечах прошлогодние трупы трав, — рос новый камыш—лаковый, липкий и веселый.

Летели утки осыпая пух. Атласно гоготали гуси, а вокруг Лоскутного озера несло телеги похожие на лоскутья.

Ходил с кадильницей Хрументил. Заглядывая в лица, шептал строго, напуганно:

— Не слабей, постись, молись!.. Бог-то, бог!..

Но про бога молчал старик седой и хитрый.

IV.

Томилась Варвара, глядела на горящие леса. Подкатывался к сердцу черной анрейшин волос над корявым скуластым лицом.

Спрашивала тоскливо одноглазую бабку Анну:

— На спокойну землю скоро придем, жду-у?.. Мочи нет терпеть, плесень по грудям пошла, страшна!.. Спать на кравати хочу-у, бабка-а!.. Чуеш?

Отвечала одноглазая неспешно:

— Счас, дитятко, счас придем на спокойну землю!.. Обожди!

— Камыш да камыш, Господи! Скоро, бабка, земля-то голая?

С шипом бежали озером желто-зеленые камыши. Вода походила на травы, ветер хлюпался в камышах зеленобородый и мокрый.

V.

Тянулись телеги, скрипели. Скрипели камыши. Голоса людей были тихие, утомленные. Молитвы не колыхали губ.

Испуганно шептал лысобровый Хрументил:

— Терпите, хрященные—пятьнадцать и ешшо два: семьнадцать зарубил на телеге. Сколь еще, пытай?

— Многа!

Спрашивали бабы тихо и боязливо:

— Може омманул, странной? Восподи!

Белокостый грозился кнутом Хрументил. Хрипел злобно:

— Молчи, не искушай! Стояла бы али нет на холмище, кабы не он... а тут виденье Мирону была! Я те спрашиваю, была? Молимся ведь, ну!

Строго глядел на багровое заревное небо. Переспрашивал хрипло, тяжело:

— Молимся ведь, ну?..

Шуршали камыши.

Шуршали голосами робкими бабы:

— А може кто ране займет спокойные земли?.. Придет и займет?

Выл по камышу Хрументил:

— Не может етова случиться!.. Зря мы молимся?

И тыча кнутом к небу, спрашивал:

— Зря-я?..

Боками дороги крались Анрейша и томские. Устало говорили:

— Пожалуй не вокруг озера идем, а камышами прямо! Хоть бы землю посмотреть, пашню понюхать. Гниль здесь, смертонька! А коль прямо, куды-нибудь да и придем?

Слушали голос Хрументила, крестились. Фыркало усталое озеро.

— Которой раз вокруг-то идем, не знам!.. народ испостовал, зол, показаться нельзя, пымают, выдадут!..

— Убьют!..

— Смертоньки ждем что ли?..

Кричал на них Анрейша:

— Перестань. душу сволочи выматали! Буде-ет!..

И ждал — выйдет на запах его, на храп лошадиный Варвара. Не было ее, не шла. Зорили молитвенницы-старухи, кольцом древним сухим замыкали грехи.

Кольцом желтым шелестящим кружились озером камыши.

* * *

Обходили двадцать первый раз, когда услышал Хрументил хлюпанье и ржанье впереди себя на дороге.

Подумал,—„приехали еще телеги на моленье“.

— Обождь,—сказал.

Остановился ход, ждет.

А на дороге человек, а за ним еще. Лошадь под человеком высокая, грузная—копыто как двупудовая

гиря. Человек на ней в чесучевом белом пиджаке высокобород и остронос.

Заикаясь, спрашивает:

— Это-о еще что за шшествие?

А за ним солдаты, с винтовками, верхами.

Кричит чесучевый человек:

— Фронт здесь иде-ет!.. почему люди? В деревнях не найду на ррабботу ннадо!.. По ккамышшам прятаться? Какова села?

— Нету села, сгорело,—ответил Хрументил.

Выехал, позади хода в камышах опушных, встал Анрейша, смотрит.

Говорит чесучевый:

— Здесь у озера—окопы будут, поняли? Камыши сожжем, поняли?..

Обернулся к обозу и махая рукой крикнул:

— Эй, все сюда, подходи и!..

Кричал заикаясь:

— Хотите чтоб у вас оттечество было, родина, а?.. Камыш сожжем, а мне здоровых надо, рухлядь к чорту!.. здоровых, окопы рыть, поняли, а?.. Лошадей, телеги беру!.. Давай мешок!

Заревели бабы.

Насыпали землей мешок. Подходили поочередно, подымали и от телеги до телеги проносили. Кто унесет, на работу. Кто нет—оставайся.

— Торопись, торопись!—кричал чесучевый,—целых полдня потерял, вас отыскивал. Живива! Сейчас камыши подожгем!

Сказал торопливо Анрейша одному из томских:

— Пересадь, мне лошадь надо.

— Нашто те она?.. на двух хош?

— Девка счас придет, Варвара... Вместе скитаться пойдем!

Подошла Варвара к мешку, оглянулась на мутно-желтые камыши, на скуластое анрейшино лицо. И на дорогу посмотрела, в лес, куда уходили поднявшие мешок. „Не подымит Варвара, бросит мешок, останеться“.

— Торпись, торпись!..

Посмотрела она еще. Пахнуло из леса смолью, пылью теплой и густой. Наклонилась она над мешком, схватила за концы.

— „Не осилит, Варвара, не подымит"...
Нагнула она плечо, вскинула мешок и понесла.
— Ну, стерва!—сказал один из томских.

Трещали разгораясь камыши. Лип на зеленую воду похожий на туман серый дым. Кричала испуганно птица.

Вырезал Анрейша из бабкиной юбки четыреугольную тряпку. Нацепил тряпицу на палку. Заткнул палку за пояс.

Спросили томские:

— Куда ты?

Был у Анрейши липкий серый как дым взгляд. Утомленно шла лошадь. Давило копыто мягкие травы. Было копыто как большой зеленый цветок.

Отвечал Анрейша:

— А пойду я, скажем, к чернобандистам.

В. Ирецкий.

Обида.

I.

Старик Прозоров доживал седьмой десяток. Огромное дело свое—мануфактуру—он уже давно передал сыновьям и только время от времени, по праву старшего, заглядывал в контору, просматривал балансы и, задав несколько вопросов кому-нибудь из сыновей, уходил, почтительно провожаемый служащими. Может быть, дело велось и не так, как при нем, но он не вмешивался. Сыновья его—три крепкие дуба, кряжистые, немного хмурые, упрямые,—своего не упускали, и капитал фирмы все рос и рос.

Для себя старик оставил садик на дворе, присмотр за домом и глухими приземистыми амбарами, заваленными товаром,—и еще благотворительность. Случалась ли беда какая в его районе, пожар ли, внезапная смерть, старик Прозоров на другое утро уже был там на месте, и старым опытным умом озирал с высоты своих шестидесяти восьми лет чужое бедствие. Вникнет, покряхтит, припомнит такой же случай в прошлом, а потом подойдет к вдове или вообще к пострадавшему и, чтобы не слыхали другие, прикажет вечером зайти к нему в кабинет. Никто греха на душу не возьмет и не скажет, чтобы Василий Петрович в таких случаях не помог. То на службу определял, то деньгами выручал, а то просто товару приказывал выдать из конторы: торгуй, дескать, поживайся и восстанавливай прежнее.

Тихой безмятежностью, благодушием и несуетностью веяло от старого сморщенного лица Василия Петровича, от его седой бородки, на тупой клин похожей, и только маленькие острые глаза его, как неугомонные сверлила,

вечно были в движении и то и дело напоминали, что жив был дух в этом старом изношенном теле и жаден к восприятиям.

Но если бы порасспросить Василия Петровича хорошенько, то на деле оказалось бы, что безмятежность его не настоящая. Уже лет десять, как ежедневно ловил он себя на тревожной мысли о смерти, особенно когда по старой привычке каждое утро просматривал на первом листе газеты объявления о смерти и похоронах. Сначала умирали знакомые, потом старшие друзья, а потом и сверстники. Длинной вереницей проносились перед ним тени дельцов, воротил, самодуров, злых и добрых, крикунов и тихонь, которых помнил еще совсем маленькими. И чем дальше, тем все чаще звучали прощания с уходившими из жизни, и каждый раз неугомонный поднимался вопрос: а когда же мой черед?

Не боялся он смерти, но томился ожиданием, отсрочкой, которая подкарауливала его на нежданном месте. Да и не жалко было умирать! Жизнь свою он прожил полно и вкусно, боролся, страдал, наслаждался, знал, что такое восторг и достижение. Хорошего всегда было больше, чем плохого, а тревоги и горести разрешались благополучно. И с женой жил хорошо, сначала даже влюбленный в нее, потом уж по привычке любил и, когда умерла она, думал о ней с хорошим, но спокойным чувством.

Нет, не жалко было оставлять жизнь. Использовал он ее всю, и теперь с невозмутимостью мудреца предоставлял место для других. Много раз ходил на кладбище осматривать фамильный склеп и примерял к себе могилу рядом с покойной женой и дочерью. Но не испытывал никакой жалости к будущему, которое обратит его тело, мысли, жизненный опыт—в ничто. Свыкся с этим и не скорбел нисколько.

А смерть все еще не думала приходить, и Прозоров, просыпаясь рано утром, с улыбкой говорил себе:

— Не поспело еще, значит, время. А, может, сегодня?

И с хитрой гримасой говорил своему незримому собеседнику:

— Боюсь, думаешь? Совсем не боюсь. А даст Бог пожить еще—спасибо скажу.

II.

С некоторого времени—Прозоров это сам в себе обнаружил—он по утрам такие разговоры с собою перестал вести. Как проснется, сейчас же за газету. Самому, правда, лежа читать неудобно, но пока услужающий Петька примчится, Василий Петрович как-никак строчек пять глазами пробежит и, вместо мыслей о смерти, набьется полная голова мыслей о войне.

Богат был его жизненный опыт. Помнил прежние войны, знавал многих очевидцев сражений, но то, что узнавал про теперешнюю войну, было необычайно и не похоже ни на что прошлое. Всякий рассчет нежданно разрушала эта война. Прикинет это он в уме насчет, скажем, исхода наступления или нового союза, прочтет, что умные люли про это пишут, а выходит все по иному. Хотя бы наоборот—и то не получается. Все спутала, перемешала и над всем насмеялась беспримерная война. Уж на что торговые люди предчувствия разные имеют и иной раз события лучше дипломата какого предвидят, а и то на деле, оказывалось, чепуху говорили.

— Вавилонское столпотворение в умах, стало быть,— объяснял себе старик и думал о том, что если бы по настоящему в Бога верил, то следовало бы придти к заключению, что решил Господь грешную землю наказать и отшиб у всех разум: никто ничего не понимает, а пророки разные да предсказатели только народ морочат.

— И чем же это все кончится?—спрашивал себя Прозоров, чувствуя, что это не праздный вопрос для него, а мучительно острый, волнующий, от которого больно замирает его старое сердце.

И задаваясь каждодневно этим вопросом, Василий Петрович наткнулся однажды на злую, жестокую мысль, что, пожалуй, не доживет он до разъяснительного конца, и когда будет отлетать его душа, недоуменно поглядит она на покидаемую землю. Черный ужас пронизал все поры его изветшавшего сердца и задрожали колени: хотелось жить еще, ах, как хотелось!

Теперь он уже просыпался не с улыбкой, не с хитрой гримасой лукавца, которому удалось пройти

незамеченным сквозь строгий дозор смерти, но просыпался угрюмый и беспокойный. А смерть миловала пока что. Много ровесников его за это время перемерло, а он продолжал жить, читал по утрам газеты, но досадной отравы были полны его думы, что вот в самом интересном месте посмеется над ним судьба, и конца он так и не узнает.

Уж и революции дождался, видел и сам переживал ликование большое, и были дни, когда уверенно думал, что это и есть конец, завершающий войну, и снова как будто возвратилась к нему обреченность, спокойная, благодушная.

— Теперь, кажись, и умереть можно.

А потом опять, как прежде: замутила Россиюшка, заголосила как кликуша, как бесноватая, — и вновь всякий умственный рассчет разрушался: ничего не понять,—где конец, где начало.

Приходили сумрачные сыновья — три кряжистые дуба, на кусты осенние теперь похожие — и допытывались у старика-отца: как быть? что делать? Деньги из банков не выдают, товар забирают, а приказчики и рабочие автономную комиссию какую-то придумали. И чего хотят, — сами толком не знают.

Раньше, бывало, от совета и руководства старик никогда не отказывался, особенно, если сами просят, а теперь только руками разводил.

— Вы молодые, — говорил. — Вам лучше понимать. Теперь ведь все, что по старине, — на смарку. Читал я где-то, будто острова есть такие, на которых еще дикари живут. Так они стариков своих душат. Чтобы новизне всякой не мешали. Старики-то ведь за старое любят кре-е-пко держаться.

— Да, что там старое или молодое! — сокрушенно возражали сыновья. — Не в том дело. Неразбериха — вот в чем беда. И потому плана на будущее не можем составить.

Да, будущее! Словно первые люди на землю вернулись, и живут себе без плана, без предусмотрения. А тут еще нужда пошла: как продадут что, так деньги на уплату приказчикам да рабочим и уйдут. На новый товар денег не хватает, и ткани все реквизированы. Что тут поделаешь!

Разваливалась старая, но крепкая и хорошо нала-

женная машина, и приходило в расстройство все, начиная от книг торговых и кончая пружинами замков. Обидно было старику, что рушится его дело, большое солидное дело, но не это все-таки было главное, что его печалило.

— Конец какой будет, хочу знать!—упрямо говорил он себе. — Желаю последствия видеть. И потому не хочу умирать. Ни за что не хочу!

И думал он о том, что если бы с Богом пришлось ему беседу вести, то не молитвенно просил бы, а требовал бы продолжения жизни, требовал бы, как должного, потому что трудом, горячею любовью и обидой выстрадал он свое право—глазами увидеть завершительный конец. И так как не умирал, то искренне начинал верить, что Господь действительно предоставил ему это простое и справедливое право.

Сам того не сознавая, так он молился. Случалось это с ним и в ночной тиши, когда томила старческая бессонница, и у разгоревшейся печки, в которой резвились бодрые прожорливые огоньки, а то случалось и днем, на прогулке по безлюдной пустынной улице в морозный солнечный день.

III.

Старые люди говаривали: где закон, тут и обид много. А уж когда беззаконие пошло, обидам и конца не стало. Грабили среди бела дня, резали, в прорубь бросали, расстреливали — и опять же по пословице: была бы спина, найдется и вина. Отыскалась вина и за Василием Петровичем: грабил, дескать, народ; трудом его пользовался, обирал его. Ну, а отсюда и вывод простой—грабить награбленное можно.

Как-то не спалось раз старику, о Россиюшке все думал, мировой конгресс в уме представлял, — как, мол, с нами там обойдутся, дадут в обиду или не дадут, припомнят ли слово несдержанное или простят за глупость? Вдруг звонок над дверьми брякнул, громко и нагло: обыск пришли делать.

Нежданные гости раньше всего словами новыми ошарашили, какой-то там мандат показывали, про спе-

куляцию упоминали и под конец денег потребовали. Где-ж было денег взять! Все до единой копейки в Коммерческом и Сибирском банках лежали, и даже на обиход деньги стряпка прямо в магазин приходила брать. Рублей сто тридцать в доме оказалось.

— Нет у меня, братцы, денег нисколько,—спокойно сказал Прозоров.—Верьте слову.

Посмотрел это он на наведенные револьверы: страшновато стало, а спокойствия не потерял. Еще, значит, надежду имел, потому что жить очень хотелось.

— Неужто,—сказал,—деньги, думаете, мне дороже жизни? Были бы, ей-Богу, отдал. Вот берите серебро, часы золотые. А денег у меня нет.

— Ты, старик, дураком не прикидывайся!—сказал один из грабителей и толкнул его кулаком в плечо.— А то мы тебя живо определим. Ты не думай, что мы стрелять не станем, шуму побоимся. Вот тебе!

Отвел он револьвер в сторону, выстрелил для острастки в икону Иверской Божией Матери и, не целясь, прямо Ей в уста угодил.

— „Ну, конец!"—в холодном ужасе подумал Прозоров и поник головой.—„В икону стрелял—значит, не даст мне пощады".

И уж не в опасности он себя считал, не обреченным даже, а прямо убитым, и когда снова обратился к грабителям, то говорил с ними так, словно по ту сторону жизни перешел, земного всего лишился, и только одна правда ум его занимала.

— Последний раз тебе говорим: желаешь решиться жизни? А нет, так сказывай, где деньги спрятаны!

Жестоко звучали грабителевы слова.

— Не прятал я денег,—однотонно-суровым шепотом отвечал Прозоров.—Выслушайте меня, братцы. Знал я и так, что жить мне недолго оставалось, и больше всего не деньги я ценил, а дни свои последние. Хотел знать я, чем это вся наша завируха кончится. Денег с собой ведь в могилу не возьмешь, а разгадку сущего взять можно. И была мне охота узнать, чем дело наше закончится, к чему наша страна придет,—к хорошему, аль к плохому, к новому, аль к старому. Не лгал я вам и не притворялся нисколь, а по человечеству просил: берите, что хотите, дайте лишь конца дождаться. Хочу проследить, какой конец всему будет.

Голос ли у старика был проникновенный, бесхитростная просьба ли усовестила грабителей или просто в словах его что-то необыкновенное, замечательное услышали, да только поверили, что денег при нем не было—и не тронули. Переглянулись и прочь пошли.

И почувствовал Василий Петрович светлое в душе своей ликование—и по случаю сохранения жизни, и по случаю того, что есть сговорчивая душа и у разбойника. Ходил, думал и, улыбаясь, качал головой.

Много лет прожил он, а вот только теперь благоволение в человеке постиг.

Ясное спокойствие вернулось к нему снова. Мягче и бодрее стал. Шутка-ли — зверь кощунствующий, и тот понял, что есть у старика бесспорное право пожить еще немного на белом свете!

С тех пор как-то даже думать о смерти перестал. Разбойник помиловал, ну, а Бог, значит, подавно.

Дни стояли солнечные, веселые. Начинали скалывать лед. Приближалась весна. Из каких-то невидимых проталин доносились ароматы черной земли и томили душу неясной печалью и сладкой расслабляющей тоской. А вот Прозоров чувствовал себя бодро. Печаль-то, правда, и у него была — очень уж горькая всюду вокруг жизнь протекала, да и сыновей измотавшихся тоже было жалко, — а бодрость все-таки не покидала его.

— Конец-то не скоро, а все-ж доживу. Непременно доживу!—думал он, прохаживаясь по двору.

IV.

Не ждешь ее—она и приходит.

Двух недель не прошло со дня радости большой, слег вдруг Василий Петрович, и тайный голос, медлительно-протяжный, уверенно говорил ему, что больше он не встанет.

Ездил врач, слушал и выслушивал, качал головой, и понял старик, что на этот раз смерть неминуема. Вместе с жутким страхом, который мокрым холодом прошелся по его изношенному телу, ощущал он и

большую обиду. Смотрел на икону, простреленную грабителем, насмешливо улыбался и сокрушенно повторял одни и те же слова, умоляюще-бессильно:

— Разбойник помиловал, а Ты, Ты не хочешь! Где Твое Благоволение?

Перед вечером приходил старичек один, Личедеевым звали. Успокоительные слова всякие говорил, а потом священное писание вспомнил и сказал что-то о стране, где беззаконные перестают страх наводить и отдыхают истощившиеся в силах.

Прозоров грубо прервал его и, словно проповедь, хмуро произнес:

— Не в том дело, чтобы жить мне еще. Конец я хочу узнать какой будет. Чем завируха кончится? Понял? Ну, и не утешай. Безутешен я.

Личедеев смущенно провел костлявой рукою по своей лысеющей голове и, подняв указательный палец, робко возразил:

— Не следовало бы тебе, Петрович, забывать про то, что наиервейший источник богочеловеческой жизни есть превышающая разум наш—тайна. Разная она для людей бывает. Для тебя, может быть, всего эта и есть.

Сердито посмотрел на него Прозоров и, отмахнувшись, сказал:

— Всякая тайна, слышал я, нуждается в откровении. Разве Христос есть Бог потаенный? Обнаружил же Он себя. Что же ты чушь городишь! А судьбы родины нашей тем паче непотаенны. И разве при миропомазании не дается всем право быть орудием Духа Святого в служении пророческом? Ну, вот я и желаю о судьбе России знать. Дал я ей сыновей своих, богатство, мысли, чувства и любовь свою. Предки мои строили ее. Оттого и есть у меня такое право простое спросить: а кончится-то это чем? Знать я желаю. Ответить мне на все это может только жизнь. И потому вот жить хочу еще. Надо мне!

С трудом повернул голову и с презрительной улыбкой добавил:

— Разбойник, Матерь Божию оскорбивший, - и тот понял мое право. Потому что душа у него, хоть и разбойничья, но русская, сговорчивая. А Этот и понимать не хочет.

Неслышными шагами отходила от него жизнь. Холодели пальцы, и лиловыми стали жилки у глаз. А дух все еще не сдавался; зато обида сменилась злобой, неукротимой и яростной.

В последний час пришли сыновья, торжественно-хмурые и преувеличенно-сдержанные. Старший из них строгим пониженным голосом спросил у умирающего отца о его пожеланиях. Старик поднял глаза и злым смелым шепотом сказал:

— Хочу еще жить. Хочу знать, чем все кончится.

Думая, что старик не понял его, сын снова однотонно повторил:

— Может быть, папаша, какие-нибудь последние распоряжения сделаете? Волю вашу мы выполним свято.

Прозоров жалко улыбнулся.

— Какие там распоряжения!—тихо простонал он.— Слово мое последнее хотите — извольте. Думал я: разбойник помиловал, помилует и Бог. Ведь должен же Он знать, что не за жизнь я цепляюсь, а разгадки трепетно ждал. Вот я говорю вам: нету Бога! Никакого Бога нету!

У его изголовья стоял священник в эпитрахили. Он уж было сложил губы в лейку и хотел что-то сказать, но сыновья ему не дали.

Точно угадав его намерение, Прозоров поднялся с подушки, повернул к нему свои полузакрытые глаза и злым, нехорошим тоном прошипел:

— Нету, нету Бога! Мне это лучше знать. Не спорь! Да и не допустил бы Он того, чтобы Россиюшка про Него забыла. Не мог допустить. Нету, нету Бога!

Это длилось минуту. С жадностью глотнул он в себя воздух, сделал коченеющей рукою безнадежный жест—и умер.

Богомольная странка, стоявшая в дверях, громко всхлипнула. Ей показалось, что при последних словах старика Божья Матерь, простреленная грабителем, укоризненно посмотрела на Своего Сына.

1918 г.

В. Муйжель.

Человек и картина.

Враги приближались. Это было известно раньше, но теперь об их близости можно было судить потому, что весь дом опустел. Старик звонил три раза — и долгая звенящая тишина отвечала ему. Он понял, что все слуги, дворецкие, мажордомы — все эти муравьи, еще утром копошившиеся в огромном, как замок, и роскошном, как дворец, доме, почтительно выслушивавшие его приказания, — теперь разбежались, гонимые рабским страхом.

Он усмехнулся, побарабанил пальцами по тисненной коже подлокотника кресла, в котором сидел, и оглянул высокую с огромными окнами комнату. Надо было и ему уходить.

В сущности уход его был давно решен и в этом не было ничего нового или удивительного. Еще задолго до этого дня к нему приезжали, сначала советуя отъезд, потом удивлялись тому, что он не ехал, потом требуя этого отъезда. Он выслушивал, кивал головой, любезный - величественный, как всегда, и чуть-чуть улыбался тонкой, знающей улыбкой, скользившей под пышными чуть-чуть желтоватыми, как слоновая кость, усами и таявшей где-то в огромной, закрывавшей всю грудь бороде. И от этой улыбки всем становилось немного неловко, как будто холодно немного, и смутное ощущение какой-то неожиданной ничтожности своей перед этим невозмутимо спокойным, величественным, как повелитель, стариком заставляло покорно склонять голову... И он остался—теперь совершенно один во всех огромных залах, уютных гостиных, бесконечных галлереях, заставленных и завешанных, как музей, огромной ценности и редкости вещами.

Но надо было уходить — враги приближались. Он

это знал особым чувством — презрительно-гордым, которому не нужно было каких бы то ни было внешних подтверждений. Игра была проиграна, это он знал и раньше — он только не думал, что она будет проиграна так скоро...

Теперь надо уходить... Что же взять с собой из всех сокровищ, которыми набит был этот опустевший дворец?

Здесь прожило бесчисленное количество поколений, поставленных судьбой на одну из самых высоких ступеней человеческих отношений. С незапамятных времен в этот дом стекались сокровища всего мира от металлов и камней до редчайших произведений искусства .. Жизнь обитателей его текла среди этих драгоценностей, привычных настолько, что они не останавливали на себе внимание, как та земля, на которую привыкла ступать нога. В цепи поколений выдавались люди, которые всю свою жизнь и все огромное богатство посвящали на то, чтобы собрать сюда книги или картины, табакерки или камни. Были комнаты, увешанные по стенам потемневшими полотнами мировых мастеров и сплошь заставленные витринами, которым завидовали европейские музеи. Что же взять из всего этого сейчас, когда надо было уходить и оставить все тем, кто все-таки не оставит камня на камне от этого замка-дворца?

Старик не долго думал. Он знал мерило ценности и для него вопрос был ясен. Золото и камни, деньги и серебро останутся, в чьи бы руки они ни попали. Самое их ничтожество, заставлявшее старика презрительно морщиться при воспоминании о блестящих желтых крупинках и тусклых, как бельмо слепого, серебряных монетах, — спасали их от уничтожения. В сумме ничтожной человеческой жизни они останутся, как вечная насмешка над ничтожеством человека. Если спасать, то надо спасать то, что несомненно будет уничтожено и что представляет собой вершину человеческого духа...

— Конечно ее... Ее надо взять! — пробормотал старик и поднялся. Из трех свечей бронзового канделябра, вставленная позднее, одна была больше других. Старик вынул ее, обернул конец платком и двинулся из комнаты.

„Она" висела не в галлерее, где со стен смотрели полупившиеся мелкой сеткой произведения мировых мастеров, и где колеблющиеся пятна трепетного света свечи вырывали из темноты то желтое, бессильно распростертое снятое с креста тело, то наивно радостное лицо женщины, любующейся лежащим на коленях ребенком, то роскошные тела, лежащие с цветами и виноградными лозами, вызванные к вечной жизни полнокровной кистью исполненного солнечной радостью художника, а дальше, в библиотеке... Огромная, мрачная от черного дуба зала угрюмо блеснула полированными краями мебели, погребальным отражением стекол и тусклым отблеском бронзы. Она висела между шкафами прямо против двери.

Сколько раз, даже поздней ночью, приходил сюда старик и, сев в кресло, смотрел на эти вечные черты. Божественное ли это было лицо? Да, если полнота человеческого существования божественна. Может быть, жизненность изображения так приковывала к себе глаз? Может быть, но если жизнь, то это была особая жизнь. Это были первые проблески пробуждения жизни, предчувствие великих путей. развернувшихся перед человеком, это было семя, из которого вырос роскошный плод... Столетия протекли величавым ритмом над этими красками и, казалось, весь сложный— кровавый и радостный, мучительный и восторженный— путь их уже был намечен в этих глазах, в этой улыбке, в самом чуть-чуть шаловливом и вместе с тем неуловимо скорбном наклоне головы...-От нее, от этой картины, как реки от источника, привлекая грубый гранит человеческой косности, потекли разветвления школы. Здесь, в Европе — она, этот источник, была одна. Другая, бесспорная вещь того же мастера, была по ту сторону океана, замкнутая в вульгарном раззолоченном дворце миллиардера. И не было на всей земле ни одного каталога произведений искусства, который бы не указывал на нее, на эту, как на единственное бесспорное произведение мастера, давшее на десятки столетий жизнь человеческому творчеству.

Старик подошел к ней, поставил свечу на столик и попробовал снять ее. Она была очень тяжела, он знал это, осматривая ее раньше. Написанная на полированной асфальтовой доске коленная фигура почти

натуральной величины, заключенная в старинную золоченую раму, она едва поддалась усилиям старческих рук. На минуту тревожное чувство шевельнулось в душе старика. Но он подумал, что не может быть, чтобы весь дом совершенно опустел, что несомненно хоть один человек, привлеченный именно этим безлюдием, остался в нем—и он успокоился.

Он снял картину, потом вернулся к себе, переоделся, надел высокие охотничьи сапоги буйволовой кожи и приостановился. Надо было взять с собою... но что? В открытом ящике бюро блеснули вороненной сталью револьверы, пистолеты, опять револьверы. Нет, это не годилось. Это шум, а его, может быть, нужно будет избегать. Взгляд его скользнул по стене у камина. Рыцарские копья, короткие древние мечи, кривые турецкие сабли, изогнутые малайские ножи, колчаны и стрелы, луки и арбалеты в причудливых сочетаниях сплетались там. Он подошел и долго выбирал. Потом протянул руку и снял небольшой, острый как жало осы, трехгранный венецианский кинжал с чеканенной художником-мастером серебряной ручкой. Это годилось. Это был тайный друг, отравленный темным ядом прекрасного и таинственного города, где любовь и смерть перевивались капризной страстью в гирлянду наслаждений, окропленных человеческой кровью. Старик сунул его за борт мехового плаща и пошел в библиотеку.

Свечи нельзя было взять, потому что обе руки были заняты картиной, и в темноте, где только намечались тусклые квадраты окон, старик шел через пустынно гулкие залы, по мягким коврам гостиных, по всем замершим в молчании комнатам. Он вынес картину не в вестибюль, а к боковому незаметному ходу, рядом с ходом из помещений людских, и здесь оставил ее. Теперь надо было разрешить вторую задачу, но он был в ней уверен.

В далекой буфетной, где заграждаемые стальной дверью и толстой железной решеткой хранились дорогие сервизы, серебро и столовое белье, у разбитого стеклянного шкафа на корточках сидел человек. Старик мельком взглянул на вывороченный замок стальной двери и развороченную ломом решетку и остано-

вился. Человек так был занят своим делом, что не замечал его.

Он был похож больше на обезьяну, чем на человека, в своей позе на корточках перед выдернутым ящиком шкафа, где копался черными и грубыми, и вместе с тем цепкими, как обезьяньи лапы, руками. И лицо его — сморщенное, коричневое с залежавшимися привычными складками морщин на низком лбе, над ушедшими глубоко в орбиты глазами у приплюснутого носа, обросшее неровными клочками волос, — мало напоминало одухотворенное человеческое лицо.

Старик долго смотрел на него, слегка трогая прядь своей белоснежной душистой бороды и следя, как человек выбирал ножи и вилки с тяжелыми кованными серебряными ручками.

— Послушай, малый, — проговорил он, наконец, негромко, но от самого звука его голоса человек чуть не упал.—Не бойся, я тебе ничего не сделаю, но мне нужна твоя работа... Ты снесешь мне одну вещь до города, вместе со мной, потом можешь вернуться сюда и продолжать свое занятие. Я заплачу тебе столько, что эта глупость (он кивнул на ножи и вилки) пустяк!..

Человек приподнялся и, втянув голову в плечи, опустив длинные руки, трусливо смотрел на старика глубоко провалившимися маленькими глазами.

— Но, паночку, я ничего... я только тут вот...— забормотал он, еще больше втягивая голову и как будто ожидая удара.

— Ступай, ты понесешь вещь, — коротко и властно проговорил старик, отступая в сторону и давая ему пройти вперед—и человек робко, на цыпочках, словно боясь разбудить кого-нибудь, пошел.

Они опустились вниз, к боковому выходу. Старик завернул картину в бархатную скатерть, перевязал ее сорванными с портьеры шнурами и устроил на спине мужика, как сделал бы это на седле лошади и осла.

— Но, паночку, у меня есть жена, дети... Трое маленьких, один еще не ходит — и старуха мать... — опять забормотал было человек, покорно подставляя спину и подтягивая удобнее веревки, — не загубите, паночку, невинных сирот...

— Я тебе дам столько, что они будут богаты... А если ты откажешься, — ты знаешь меня...

Человек покорно покосился на него и двинулся вперед. Старик спокойно, не торопясь, пошел за ним.

Черное небо траурным пологом развернулось над ними. Оголенные деревья парка сдержанно шумели, напоминая далекое и чуждое окружающему, как прибой морских волн. В грязной куче деревенских изб за аллеей было темно и тихо: должно быть, и отсюда люди ушли, расползлись как черви, предчувствуя гром. На повороте дороги старик оглянулся. Одинокая свеча догорала в маленькой передней бокового выхода и была она как бессильная звезда в черном океане мрака. Чуть видным силуэтом глухо и плотно намечался весь силует огромного дома, как будто мрак, видимо сгустившись, принял причудливую форму остроконечных башен, развернутых фронтов и суровой последовательности стройных колонад. И робкое мерцание одинокой свечи было как последний вздох этой старой, пережившей века, громады камней.

Старик отвернулся и пошел скорее. Человек, несший картину, шагал скоро и ловко своими вывороченными внутрь ногами, обутыми в какую-то мягкую обувь. Он дышал затрудненно,—очевидно, тяжесть давила его плечи и спину, но по легкости этой привычной к неровным тропинкам походки видно было, что сил в нем много. Старик подумал, что до города, где была безопасность, надо пройти всего восемь верст—и успокоился совершенно. Этот человек-обезьяна такое расстояние выдержит. И даже будет доволен, получив поистине царскую плату и имея возможность вернуться и грабить уже весь дом беспрепятственно...

Кто мог быть этот человек? Какой-нибудь мелкий служащий, копошившийся в доме десятки лет, которого он, владелец, ни разу даже не видел... Истопник, кухонный мужик, помощник конюха?.. Человекообразное животное, существование которого менее ценно, чем вывезенного из Персии арабского жеребца или выписанной из Англии борзой собаки. Он несомненно вор — его и застали за грабежом,—но его мораль настолько низка, что даже этот грабеж он не считает предосудительным. Какая жизнь, какие представления могут

быть в этой черепной коробке, придавленной низким лбом, с запавшими глубоко в темные орбиты маленькими, звериными глазами? Вот у него есть жена, дети, старуха мать. Три поколения, непрерывной цепью ползущие по грязи их вонючей загаженной жизни из тьмы прошлого в тьму будущего... Он бормотал что-то о них, когда боялся удара—плетью или ножом—значит, у него есть привязанность, любовь? Та самая, что теперь заставляет его сопеть под тяжестью доски, боясь удара бича—или смерти? Слепая зоологическая тупость упорного стремления во что бы то ни стало продолжить свой вид—зачем, для чего?.. Какие образы, смутные и темные, как эти черные тени угрюмой ночи, встают и бесследно пропадают в том мозгу, какие тени человеческих ощущений скользят по корявой, заросшей как лесная дебрь его душе?..

И это человек?

Идущий впереди остановился. То, что он нес, слишком давило его. Как будто вся страстная тоска вековых достижений человеческого духа, вся скорбь и тоска исканий, вся неудовлетворенность и боль разочарований стремления гордого творчества пробить замкнутую стену бытия великой силой искусства налегла на эту каменную доску. Человек отирал пот и по короткому хриплому дыханию было понятно, как тяжело и затруднительно бьется его сердце.

Привыкли ли глаза к мраку или стало светлее, оттого, что где-то направо, за зубчатой стеной леса огромным веером, чуть вздрагивая и колеблясь поднималось зарево пожара, но старик довольно ясно разбирал лицо носильщика. Оно было неподвижно, замкнуто в своей гримасе обезьяны, а маленькие глаза совсем прятались в провалах орбит. Но чувствовалось, что он смотрит сюда, на старика—и взгляд его темен и непонятен, как эта черная ночь, как его черная душа...

— Ну, иди,—довольно кротко приказал старик,—теперь недалеко... Версты две не больше... Даже я, старый, теперь мог бы донести эту штуку... Ты знаешь, что несешь?

Человек поправил плечом тяжесть и взглянув, по привычке, искоса и исподлобья, несмело ответил:

— Панские забавки... Разве-ж я знаю?..

Старик усмехнулся и пробормотал:

— Забавки!.. Забавка, перед которою все твое существование, вместе с твоей женой и щенятами твоими, след раздавленного червяка на земле... Забавки!..

Они опять двинулись, но прошли только несколько шагов, как старик, тронув рукою мужика, остановил его.

Впереди по дороге, рядом с которой они шли таящейся в кустах тропинкой, послышался шум. Кто-то ехал—должно быть, верхом, потому что слышен был один звук копыт без обычного тарахтенья колес. Ехали вооруженные—оружие гремело порою, сталкиваясь со сталью стремени; фыркая, лошади гремели мундштуками.

Это были они—враги. Это было так же ясно для старика, как дрожащее и переливающееся, как развернутый багрово-розовый шелк, зарево направо. Это были они — вандалы, по следам которых шло разрушение.

Слегка вытянув одну руку, а другой крепко сжимая под плащем чеканенную ручку венецианского кинжала, старик слушал приближающийся топот. Человек, несший великое произведение, тоже замер, прислушиваясь. Его подавленная, покорная поза вьючного животного незаметно изменилась. Она стала сжавшейся, напряженной, как стянутая, готовая каждый момент развернуться, пружина. Он не смотрел на старика, но так же ясно, как будто бы луч солнца ударил в его глаза, было то, что таится в них. Трусливый, но уже уверенный, унылый и торжествующий был этот взгляд невидимых глаз и понятный, как крик в самое ухо.

Старик крепче сжал нагревшуюся рукоятку кинжала и—как всегда во всей своей пышной и богатой ощущениями жизни—быстро, спокойно и холодно бросил все на внутренние весы.

— До города две версты... Можно донести самому... Один удар вон туда—в открывшуюся под рваным, вшивым и вонючим полушубком жилистую, черную как земля шею—и ни крика, ни стона... У него есть опыт: чучело медведя, стоящее в вестибюле замка с золотой дощечкой в подножье, последнее доказательство: один удар таким же кинжалом. В свою руку он верил—и знал внутренним чутьем, что не напрасно.

И *она* спасена—для всего будущего человечества, для всех торжественных и прекрасных побед лучшего в бытии—его преображения—искусства. Но ведь он... человек! Эта полуобезьяна, застигнутая на грабеже, который благо, когда он грабит, и преступление, когда у него грабят,—это животное все-таки... человек! Он хам и негодяй, преступник и разрушитель даже без злой воли, он тормаз—камень на пути мысли, творчества, вдохновенья, но... человек, человек!.. А если нет, то *она*—заброшенная и разбитая, погибшая в придорожной грязи...

В первый раз старик увидел, что перед ним встала задача, огромная, как мир, и тяжелая, как он. И в первый раз в гордой и властной, презирающей грязь земли и устремленной к высотам духа, жестоко-холодной и светлой, как недосягаемая вершина, душе старика встал вопрос который надо было решить тотчас...

Картина и человек. Она или он? А там на дороге топот копыт и звон оружия. Нужно решение и сейчас. сию минуту. Но как решить?..

Старик стоял, сжимая верный кинжал, и так же неподвижно, уродливо чернея придавленным к земле тяжестью силуэтом, стоял человек.

На дороге совсем близко послышался хриплый простуженный голос, командующий что-то...

Враги приближались.

Вас. Немирович-Данченко.

Ангел, поцеловавший Иуду.

„Тайное ищет оправдания и откровения".
Гностики.

Сон ли это?

Если сон,—почему на лоскутке бумаги непонятный знак: две стремящиеся одна к другой стрелы и разделяющий их меч с рукоятью в виде креста? Не я же встал ночью и начертал таинственное. До сих пор за мною не водилось такого.

Хорошо, слишком хорошо помню: часы в соседней комнате пробили два.

За окнами было темно.

Должно быть, на улице бесилась метель, потому что от времени до времени полною горстью бросало снег в их стекла.

Было душно и жарко, а меня знобило. Ноги ледяные. Какая-то струна во мне трепетала и становилось холодно и жутко. Порою и снаружи струилось остуживающее. Точно чья-то невидимая рука надо мною, и от ее пальцев пробегали ко мне истечения, от которых я коченел. Моя комната была очень мала, но когда я смотрел в ее мрак, она казалась громадной. Вся заставлена—письменный стол, шкапы с книгами, диван, кресла, вороха газет в углу, а я ощущал ее пустоту: пустоту в странно раздвинувшихся стенах. Пустоту и в пустоте эту руку.

Я открыл глаза, думал, что увижу.

И действительно увидел: на стеклах больших портретов Пушкина и Чайковского перед моей кроватью зыбкий слабый свет. Едва различимый, неровный, точно его источник то гас, то занимался. Показывался в разных местах. Пробовал сосредоточиться в опреде-

ленное, очерченное— и расплывался. Но с каждою новою попыткой форма его делалась яснее, сгущаясь вверху в круглом. Точно кто-то пробовал из разреженного тумана создать голову, в которой упорно, даже когда она пропадала, оставались две синие искры... И весь этот пар был голубоватый, как умирающий огонек в лампе, когда фитиль опущен — и она через мгновение должна погаснуть... Агония пламени или его рождение? Синее, смутное то приближалось ко мне, то отступало. Будто я был обведен магическим кругом, через который оно не могло перейти.

Чудилось или нет?

Хотел убедиться и закрывал глаза.

Если оно было вне меня—пропадет. Я его не увижу.

И пропало. Я его не видел. Долго не подымал век.

Открыл, и синее трепетное точно наливалось жизнью в эти минуты. Еще не четкое, но можно было угадать— я бы сказал—очерк человека, если бы его плечи и руки не курились слабым голубоватым дымом в нечто имевшее отдаленное сходство с крыльями. Крыльями, концы которых пропадали в бесконечности.

Спросил ли я или только подумал:

— Кто ты?

Ответил ли он или дал мысли мысль:

— Меня не знаешь. Я Единственный, пожалевший оклеветанного в страшный миг отлетевшей опозоренной жизни.

Странное, загадочное, неведомо как переданное мне. Да, разумеется не словами... Точно в мозгу какие-то клавиши, и он, чуть касаясь их, рождал представления.

— Ты был у того дерева?

Почему я именно вспомнил его?

— Да.

— Кто тебя послал туда?

Две синие искры вспыхнули и затрепетали. Я угадал в них гордую, перескакивающуюся муку.

— Никто. Я не творил волю Его. Отделился от светоносных легионов, окружавших крест и облаком обвивших душу Неизреченного, чтобы унести ее и...

Умолк? По крайней мере, во мне не рождались его ответы. От голубого пламени глаз заструилось другое голубое. Я бы сказал слезы из-под увлажненных ими ресниц.

— Ты ушел?...

— От легиона блаженных... Меня пронзила чья-то скорбь неизмеримая. У креста плакали и в смертной тоске исходили другие. Но их связывала любовь к Нему, они были чисты перед Ним, оправданы. А тот одинокий, оставленный, проклятый, угадавший это проклятие во всю вечность вселенной... Его скорбь обнимала эту вечность. Ей не было меры и имени в человечестве. Ничья рука не простиралась к нему. Ничей взор с состраданием не останавливался бы на его искаженном лице. Каин, в порыве злобы, не зная, что будет от его удара, убил брата, и в гневе и неведении его оправдание. Этот хотел возвеличить, заставить человека сделаться богом, в которого верил, и предал его на страшнейшую из казней. В мире—целый океан жалости, но из океана ни одной капли ему. Его как падаль откинули ногой те, которые купили его... С высоты креста в вечность и бесконечность из косневших в агонии уст прозвучала заповедь всепрощения,—но из этого солнца будущих тысячелетий луча не упало на его проклятую голову... И чем ярче сияло это солнце, тем крепче замыкалась в свою стихийную муку душа опозоренного...

— И в тот миг, когда петля, как змея, обвила его шею—меня пронзил ужас души его... Я уразумел: ни в одном из неисчислимых обитаемых-миров нет ужаса, равного этому. Обратись он в воды морские—затопил бы земли и погасил солнце. И этот ужас был ужасом любви, предавшей любимого... Ученика, веровавшего во всемогущество того, кто оказался бессилен здесь в юдоли страданий. Ужас обманувшегося во всем, чему поклонялся. Ужас друга, надевшего на него вместо царского венца терновый, узнавшего, что проклятый, даже в страстном порыве преданности он был только слепым орудием пророчеств и обетований. Спасение и надежда всем—менее его любившим и осуждение без конца ему—возлюбившему до самого преступления...

Синий призрак померк, потом вдруг вспыхнул... В его угасшем пламени красный гнев.

— Благословлявший всех, миловавший убийц, сострадавший прокаженным, изгонявший демонов знал его судьбу и дал ей совершиться! Вся слава, любовь, благоговейное поклонение вселенной тысячезвездным

сиянием обовьют многострадальную голову в терновом венце. А тот, всей бурною и огневою душой, страстно и скорбно желавший Учителю победы и всему своему народу спасения, останется мерзостью вопиющей измены и предательства, небывалого с тех пор, как земля родилась из довременного хаоса.

— И вот жалость исполнила меня... Я отделился от светоносного облака и через овраги и рытвины от рокового креста устремился к скалистой вершине и ее одинокому дереву. Я обвил крылами Иуду. Я коснулся его лба устами и принял на себя душу, трепетавшую как горлица в когтях беспощадного коршуна. Я не дал приблизиться к ней черным духам мщения, как дым подымавшимся из трещин этого утеса и иссушавших уже обреченное дерево. Я принял эту душу и, прикрыв ее собою, унесся в бездну света...

— Где эта душа?

— Не знаю... На пути небесный вихрь, как пыль гонящий звезды, унес ее от меня. Не знаю. У Него много обителей света и без числа обителей тьмы.

— А ты?..

— Где я?.. Тоже не ведаю. Когда я был уже у пламенных врат моих — они замкнулись... И было мне оттуда: „Уходи! Отныне твое место в земных мирах. Будь последним утешением непрощаемых. Последней несбыточной надеждой безнадежным... Правда правд и закон законов знает, кого избрать во исполнение мрачных пророчеств. На протяжении тьмы тем тысячелетий они находят душу, отягощенную длинною цепью предательств, ни разу не искупленных, чтобы поразить ее в ее любви ужасом того же предательства... Мудрость неумолимая и жалость — как тьма и свет—текут из одного источника. Пребывай во тьме и мерцай в ней душам неискупленным и обреченным.

— Но Он... Христос — величайший из Эонов, не сказал ли: „прости им, неведающим, что творят?“.

— Да... но Безымянный, Непостижимый, Неразгаданный, Неведомый даже своим истечениям, Эон Эонов невидимый владыка и средоточие Плерома не ответил ему: „да будет так!“.

Синее пламя меркло... Расплывалось в пеясное Скоро слилось с окружавшим мраком. Мне стало теплее. Согрелся.

Утром, когда я проснулся, солнце ярко светило. Бледное северное небо было безоблачно. Выпавший за ночь снег бел и безгрешен. От сна (сна ли?) не оставалось ничего... И вдруг на недописанной мною накануне странице я различил знак, таинственный, непонятный:—две стремящиеся одна к другой стрелы, разделенные мечом в виде креста. Страница эта была посвящена вопросу:

— „Предал ли Христа—Иуда?“.

Ник. Никитин.

Жизнь гвардии сапера.

Рассказ.

В больнице, когда полная свобода от сутолочи, есть время подумать на счет жизни. А как теперь, можно сказать, при конце, я разбираюсь в людях, то и себя оценю, что я не наукой, а моментом жизни, просвещенный человек. И только... Необыкновенно жить простому человеку. Чтобы найти подходящую жилу, надобно знать! По гречески вы соображаете—что значит: душа? Ну, душа—душа и значит в нашем русском, неразвитом языке. А греки для этого счету предназначили особое слово,—*психе*—то-есть... Греки—необыкновенный народ. Взять хоть ту же самую губку, завалящий товар, а у него глядишь и расторговался грек. Я человек схватчивый и каждую особенность жизни замечаю. Недаром его превосходительство, бывший наш директор, меня упрекали: — удивляюсь тебе, Скочиляс, до чего вы воспитонцы перенятливы. Тебе бы в Европе Первертоном быть, переверты тайно дипломатничать...

А как же и не быть *первертоном* лишенному рода, неосновательному человеку, которого собственная кровная мать покинула на произвол судьбы и казенную заботу.

Конечно, в младых годах я подвергнулся ошибкам поведения, за что и принимал урок от дядьки нашего Сипатыча... Огромный очень фитьфебель, со стеклянным фальшивым глазом, от турецкой еще войны. В детских годах, надо сказать, меня отдали из Воспитонского Дома в Преображенский полк, в кантонистскую школу. Что там приключалось со мной, только Сипатычу известно, но ни фаготному искусству, ни обращению с пистоном обучить меня ни для кого не составляло возможности,—дыхание у меня запирало. По такому случаю обрекли меня барабанной игре.

А тут подвернулась страстная любовь. Из конфеточного магазина одна нежная дева с обходительными словами. Я был, правда, совсем отрок и, начитавшись благородных книжек, увидел в своей судьбе фортуну. И хоть фортуна была довольно старше меня и в паричок головку кутала, как впоследствии стало известно,— ну да мне в те поры не приходилось разбираться... Одним словом, колесо жизни повернулось. Ходил я, будто угоревши, хочу что-нибудь деликатное сочинить фортуне моей, а чувства нет. Все чувства барабаном отбило. Можете сами видеть: здоровье у меня тонкое, по сложению, а с восьми до восьми каждодневно упражняясь на барабане, я все остатки потерял. Так решили мы эту музыку бросить и, по рекомендательному рапорту заочной своей любви, откомандировался я швейцаром в конфеточный магазин. Товарищи полагали, что постиг меня полный крах, но, по фактам судить, оттуда началось мое существо. Обмундировали меня из серой шинели в позлащенную курточку, был я тоненький, с аппетитными глазами юный отрок и барыням нравилось, чтобы я коробки им в экипаж подавал. А я знаю преданность, вежливо улыбаться могу и как теперь понимаю, что простому человеку первый козырь жизни— перенятливость и осторожный ход поведения. Так на сладком, да гривенничках и двугривенничках я взрос во весь фрунт и с возрастом пошаливать начал; костомчик себе сторговал и в свободный день по Невскому манежусь преподобным финтиком, точно сын хорошего семейства, многие дамочки прельщались. Тут пошло у меня пренебрежение фортуной, ей, конечно, понятно сделалось мое поведение и по бабости подвергла она меня мстительности. Довела хозяину поклеп, и отрока, вкусившего сладость деликатной жизни, попросили об выходе.

Не могу рассказать, как я скитался в поисках пищи и никак в жилу не попадал. Был грумом для служебной связи с заграничной певичкой, а когда вздыхатель ее покинул, меня прогнали вместе с всей ее кавалерией. Проще говоря: не раз я о фортуне нежно помышлял и честил себя идиотом.

Пришло время призываться... Тут я, за одного купца вкупившись, и, по причине хлябости и схватчивости, определен был в саперные войска, а как фортуна моя

имела генеральное знакомство, по причине покупки конфет, дали мне протеже в гвардию, чтобы я квартировал в Петербурге. Ведь тут опять с заочной своей любовью я заключил перемирие и дерзость мою она помиловала.

Для кого солдатчина—труба, а мне—манёвры судьбы; пустяковина. Надо только подоспеть начальству преданным ходом. Я даже усердными медалями и нашивкой отличен.

Приходит раз на словесные уроки наш полковник, Мордовцев фамелья, спрашивает у нас.

— Кто первый на империю человек?

Кто ему отвечает: митрополит... Кто: царь...

— Ну, а ты, Скочиляс?—меня спрашивает.

— Царица,—рапортую,—ваше высокородье!

— Как так царица?—удивляется он значительно,—почему не царь?

— Никак нет—отвечаю во фрунт,—они не простой народ, они—божьи помазанники!

Засмеялся он и в зубы полтинник:

— Замечательно!—говорит,—выходит, что царица...

Тогда я еще не в сознании был.

Ну, конечно, меня на сверхсрочную просили, да меня тянуло уже больше к гражданской части. Вышла тут верная командировка курьером департамента. Дело нетяжелое и человек на виду. Летал я с пакетами, покуда не залетел к самому директору.

— Это кто?—спрашивает.

Секретарь при них объясняет, что мол из наших курьеров, бывший гвардии сапер и медалями отличен

Генерал тогда отвечает:

— Люблю, говорит, таких... Мизерабельное визаже.. и прочее, ему по французски, секретарю... Муха, говорит, предопределенная природой к курьерской жизни

Я ему:—так точно!

И пригнулся.

А он мне ласково пальцем.

— А что, говорит, девятьсот пятый год?

Надо тут прибавить, что генерал наш замешался в политике, про него молва была, будто хочет он из ранжира вылезть в передовые государственные радетели.

Я только слегка пригнулся и в тон ему внятно:

— И народ, говорю, ваше превосходительство, тоже елает соображать.

— Как бесподобно...—замечает генерал и по-французски улыбается секретарю при них, и подарил мне пятерку.—Как бесподобно!

Тут был скоро всему первертон и начали мы жить по новому образцу. То есть когда царя спихнули.

Так что пять с полтиной у меня исторические сохранились, могу нынче завещать музеям.

Когда главных поменяли, я живу прежним тихим ходом, по карточке живу—по новой, а передовой мой генерал в другом месте, правда без почетного солнца на воротничке, но вся регалия жизни в исправности. И я же к ним половики выколачивать хожу.

Генеральша меня спрашивает:

— Как, говорит, соображает теперь народ?

Язвительные были супруга. А я, снисходя к их бабости, вообще отвечаю:—У меня здоровье тонкое и я в политику не мешаюсь...

А между прочим весь оборот понимал и только был в ожидании, когда умелется, чтобы мне свой фант найти. Но тогда настигла меня беда, когда пришел в канцелярию рабочий народ и круто замахнулся. Прежняя форменность жизни была зачеркнута. Тут я перестал понимать.

Председатель наш Матвей Пружников на вид рубленый человек и лицо с рябинкой, из гаруса лицо, а голосом тихий.

Непроникновенен я был, пока не выгадали новую затею: опрыскать старый режим. Это у них на манер молебна. Конечно, как стали кропить везде санитарию, добрались и до меня. А надобно сказать, что постоянным моим присутствием считалось сидение около притворчика, куда за нуждой ходят, рядом с телефоном. Конечно, с прыскалкой добрались и до моего стула. Председатель показывает на черное пятно на стуле, и рябинки краской пошли.

— Кто, говорит, такую заразу разводит?

Я ему вежливо, но с пылом отвечаю:

— Извините, отвечаю, это я насидел. Мое пятно. А заразы здесь никакой нету. Я чистый человек, бывшей гвардии сапер и медали усердные имею. Двадцать лет сижу, а заразы...

Словом, загнулось отсюда мое поведение; но ничего не сказал, только одним глазом повел, вроде фальшивого Сипатыча. Но мнение против меня имел. Я прячусь, на манер осеннего комара, но он меня мнением не оставил.

Зовет раз.

— Ты, говорит, не умеешь чернила наливать. Чего намазал...

Надо бы мне смолкнуть или особенно подоспеть как, а я, разрешите, говорю, господин председатель, обновить...

— Вы, отвечает он мне, холуйничать научились, а мне требуется правильное дело!

Ну, думаю: двадцать лет наливал, а тут разучился. Генералу передовому умел наливать... а этим не умею? Зло меня взяло! Караулю так свою обиду, занимаюсь контрами и жду политического обыска. Ладно, думаю, всё одно пропадать.

А он меня по чернильному вопросу опять принимается учить.

— Почему, спрашивает, чернила жидкие?

— Никак нет, отвечаю, не жидкие, как следует...

Он меня:—Это, говорит, себетяж!

Я тут оскорбился.—Себетяжа, говорю, вовсе нету, а только нонешний жидкий товар. А в казенном я не повинен...

Как он на меня тучей.

— Прошло твое казенное. Народу служишь,—говорит.

Я вижу, утвердили мне настоящую точку. Надо схватить психе... Если жизнь повести осторожным ходом, то только и можно выжить простому человеку, а то помрешь.

Надумал я преданный ход: прошеньице составить. Поймал председателя на лестнице, когда он еще с морозу добер, и сую бумажку.

— Извольте, говорю, зачитать!

— Это что?—спрашивает.

— На счет партейности осмелюсь. Записаться...

— Да ты понимаешь ли программу?

— Понимаю программу... Как есть бывший солдат и гвардии сапер с нашивкой. Двадцать лет по гражданской части. В казенном воспитонском доме родив-

шись униженно, как подобает пролетарски, Палей Скочиляс,—так рапортовал.

Стал я в те поры заучивать, что есть коммуна и вожди, и что я всего мира гражданин. Всё это я заучил и кожаную фуражку мне выдали бесплатно, а вкусу у меня нет. Снаружи посмотреть: бойкость имею, а душевных движений нет. Приказано было интернациал спевать, да на пятой спевке регент не выдержал.

— У тебя, ругается, не уши, а пепельницы. Пошел вон!

А я действительно в таком состоянии никак не могу на тон попасть. И в неестественности ушел я со спевки.

По улице снежок порошит, а никто мне не скажет: почему у меня вкусу нет...

А я люблю занять себя вопросом, благородной книжкою сему приучен. И вдруг, завернувши с Конюшей улицы, вижу на угле дома, где квартировали прежде придворные паточники, облеплен весь снежком, стоит мой передовой генерал. Поздоровался я с ним. Он со мной за ручку, поглядел он на мою кожаную фуражку.

— Записался, спрашивает.

— Так точно, отвечаю, ваше превосходительство, записался! А он мне по-французски:—Ну, мизерабельное визаже, сообразил значит в тон, как бесподобно.

Тут соображаю я его полное забвение и рваные калошишки, как он, сказав подобные мне слова, моментально исчез. Полагаю я, что было это мне свыше по текущему вопросу вещее видение. Всё-же таки посожалел я вещее видение, хотя бы и не надо, как классового организма, но всё мне тоскливо и вкусу нет ни к чему.

Да!

Ручаются нынче доктора, что от нарыва бросилась в жилу порча, и обещаются ее выгнать. Но мне приходится теперь, к сожалению, помереть. Потому что поведение мое совсем загнулось и точки мне не свергнуть. Но помираю я, вроде героя, страдающего за свободу, и похорониться желаю без всякой божественности, как мыслящий гражданин. А на кресте можете написать: бывший гвардии сапер.

Алексей Ремизов.

Кресту Твоему.

Отреченная повесть *).

1.

Когда сорвали с Его плеч царскую багряницу и в отрепьях вывели на улицу и под свист и гик ожесточенной горемычной черни погнали к Лобному месту, было ведомо всей твари—небесной, земной и подземной: знал темный лес, где вился терн, знало море, где росла губка, знали звери и виноградный сад, и горы и долы демоны огня, сковавшие гвозди и копье.

Ожесточаясь, кричала чернь о Его крови:

— Кровь Его на нас и на детях наших!

Пречистая кровь каплями падала в пыль дороги, по которой шел Он в терновом венке, нес тяжелый свой крест.

Уж красный весенний день красным солнцем освещал город—сколько дел совершилось!—а Богородица ничего не знала.

Во всю долгую ночь не сомкнула глаз Богородица и только под утро, присев к окну, задремала.

2.

Переполошился ад, обезумел.

Молнией облетела весть, что Светило и Солнце Венец и Слава мира, Единородный Сын Божий—Сын человеческий пленен и ведом на Голгофу.

*) „Отреченная повесть“ А. М. Ремизова „Кресту Твоему“ была дана им для другого сборника, который не мог быть издан Домом Литераторов. Мы печатаем ее теперь в уверенности, что А. М. не усмотрит нарушения своих интересов в перемещении его произведения из одного сборника Дома Литераторов в другой.

И обезумев, гремел ад, как непроносная туча немилостивая, и ревел, как разъяренный лев, и мычал, как бешеный бык,—стонал ад, как в погоду широкое море, горел ад, как подстреленное оскорбленное сердце.

— Нескончаемому царству Христову конец.

И на радостях завыли, завели темные бесы свой отчаянный пляс—бесовскую чехорду.

Бес об одной курячьей ноге, претворенная тварь, так подпрыгивал на своей куриной ноге—даже до высочайших башен, ограждающих входы в суровое жилище гордостных демонов, в муку вечную. И бескостные, с вязигой вместо кости, наушники, прихвостни и перелеты, взгромоздясь друг на друга, как в потешной игре мала-куча, пыхали смрадом, проникающим сквозь адовы стены на землю. И в пыли бесовской отчаянной возни изумрудом зеленый переливался демонский глаз.

Восковой мост испытаний между адом и раем, мост мертвых, проходящий через бурную смоляную реку, растаял. И охватило ненасытное адово пламя бешеной Геенны небесные столпы.

— Нескончаемому царству Христову конец!

3.

Устрашились архангелы, херувимы и серафимы—всколебалась небесная сила.

В бессилии закрыли ангелы свои недремные очи.

Кто пойдет к Матери Божией, кто передаст ей печальную весть, кто возвестит непреклонную волю Вседержителя Бога, извечно осудившего Сына?

Свят-Дух, утешитель огорченных и опечаленных, царь небесный не утешит их.

Сказал Господь:

— Ты, Гавриил, вестник радости, будь же ныне вестником печали.

И ответил Гавриил:

— Как скажу я, возвестивший великую радость воплощения Слова, о горьком Его кресте!

Сказал Господь:

— Ты, Михаил, грозных сил воевода, ради Всемогущего поразивший копьем своего большого брата Сатанаила, ты, победитель, возвести—тебе, как воину, легче перенесть скорбь.

И ответил Михаил:

— Рука моя победила гордыню, но не смирение и скорбь. Я могуч против могучего.

Сказал Господь:

— Ты, Рафаил, простирающий руку помощи на всякую тварь, ты заступник от лица Вездесущего, иди и помоги предвечной воле—да познает о страданиях Слова родшая Слово.

И отвечал Рафаил.

— Я—помощь Божия, я утешение страждущим, я ли повергну в скорбь величайшую в женах!

В страхе и трепете свивались белыя крылья и огнедышащие. Наливались слезами огнезрачные очи.

Лучше пусть бы Господь повелел своим ангелам и тихим, и грозным, и милостивым вынуть душу из пресвятой непорочной Девы!

Свят-Дух, утешитель огорченных и опечаленных, царь небесный не утешит их.

4.

Не в речке, не в озере, напившись на камушке, всюду летая, носилась коноплянка птичка под облаком. И по ветру дошла до нее небесная жалоба.

Поспешно спустилась она на землю к Богородице. Села на окно и, крутя подсолнечной шейкой, защебетала печально.

Подняла глаза Богородица.

Глаза белые от отчаяния, безвекие, глянули на нее из темных глазниц: один из двенадцати, предавший Учителя, стоял под окном.

Поднялась Богородица и опять опустилась на лавку,—щебетала коноплянка печально, птичка пепельная,—упал ей на сердце ужас: сердцем учуяв, бросилась к двери.

— Мария! где Сын твой?—остановил у порога любимый ученик,—где Господь и Учитель наш?

А по улице мимо окон вели Его.

Он волею шел на крестную смерть.

*

Кто поможет матери, потерявшей сына?

Кто ее укроет?

Кто охранит от темной ночи?
К кому она обратится?
Улетела, спугнутая гиком и свистом, птичка-коноплянка, слепились от горечи уста у любимого ученика.
Кто же утешит?

*

Одна Богородица, она одна, как трава стоптанная.
Ударилась она о землю—кругом пошла голова. И опять вскочила. Стоном прорезалась грудь. Рассыпались волосы, помутилось в очах. Бросилась она на улицу.
И увидела Сына, и увидев, разорвала себе ворот.
Тяжелый крест давил ему плечи. Пригибались колена под ударами. С каждым шагом все ниже Он склонялся к земле.
Горькие слезы жгли ей глаза. Кровью обливалось сердце: искало выхода, а надежды не было. И в грудь себя била она, царапала щеки, рвала волосы.
Не выдержав тяжести, упал Он.
Шедший за Ним рослый Симон выступил из толпы, поднял крест себе на плечи и понес.
Гикала, свистела чернь. Летели камни.
И подымался вихрь, закручивал пыльной волной, сыпал песком, слепя пылью глаза.
— Радуйся, царь!—насмехаясь, подталкивали Изнемогавшего.
И не слезы, кровь капала по щекам Его.
Живого места не оставили на измученном теле Его.

*

Кто же поможет матери, у которой отняли сына?
Кто ее укроет?
Кто охранит от темной ночи?
Говорят ей:
— Вернись домой!
Кто укажет дом ей?
Кто уймет, кто укротит ее горе?
Кто откликнется на стоны ее сердца?

*

С тихим причитанием, шатаясь, шла за Христом Богородица.

— Горе мне среди всех матерей! Увы мне среди всех тварей земных!

5.

Когда пригвоздили Его ко кресту, кровь лилась из ран Его.

И земля под крестом обагрилась.

Неутешна стояла у креста Матерь Божия и с ней любимый ученик Его.

Видела она всю муку Его и ничем не могла облегчить. Пить просил Он, изнывало сердце Его. И она не могла напоить Его, боялась отойти от креста.

Клубясь, тучились непроносныя тучи. Темень-темная грозная туча наливалась от края до края. И сыпались искры над городом из-заоблачных раскаленных печей.

Лик Христа побелел, слеглись волосы.

И раздался голос с креста:

— Боже мой, зачем Ты воздвигнул меня!

И голова Его упала на грудь.

А на другом конце города в саду Магдалининном, склонившись низко к земле, висел на своем кожаном поясе ученик, предавший Учителя: глаза белые от отчаяния, безвекие, глядели из темных глазниц в тяжелую землю, и рот его был полон земли.

*

Рассеклось сердце несчастной матери.

Как красные уголья таяло сердце.

Над крестом вился ворон.

Смолой кипело воронье перо и горели, как свечи, непреклонные вещие очи.

Глухо и грустно заговорила Матерь Божия.

— Или бездольный родился Ты в сиротинскую ночь, Господь и сын мой! Мертвых воскрешал, а вижу теперь, непосульница смерть взяла и Тебя. И Ты от нее не ушел. О, мой сын прелюбимый, и за кого муку Ты терпишь, за кого смерть принимаешь? К дереву прибиты руки Твои, кровью уста запеклись, язык Твой нем.

Поднял Христос пречистую главу Свою.

— Не рыдай мене, мати. Душа исходит. Вот ученик, будь ему матерью, он будет сыном твоим.

С горечью ответила Богородица:

— Променяю ли я создателя на создание, творца на тварь? Куда уходишь? На кого оставляешь одну? Возьми с собой! Скорбею! Дай и мне умереть! Скорбею!

И как белая береза склонилась Богородица у креста на камень, умоляла и упрашивала: помереть бы ей! Не могла она видеть света белого, не хотела подняться.

Как красные уголья таяло сердце.

6.

Три часа прошло, как распяли Его жестоким распятием на вечную от всего народа злую память и пагубу.

Три часа висел Он, создавший землю, над своей трудной от века землей.

Вопли и стоны и те, что потрясали века, и те, что в грядущих веках отравят всякое счастье, вся скорбь и все горе униженных, забытых, покинутых, гонимых и обойденных, вся беда, какая была и какая будет на земле до последнего дня, собралась вкруг креста и, наполнив сердце Его, жгла и мучила мукой последнею.

И вот воззвал Он.

И померкло в глазах.

И последняя тьма опустилась на землю.

*

Белый свет почернел. Там, где солнце, зияло пустое место. Проглянули звезды, в черноте задрожали, и с шумом померкли. И месяц печально растаял.

Земля потряхнулась. Всколебались моря, озера и реки. Залелеяло в поле траву. Заволновались на вешних заводях лебеди. Зашумела дубрава. Пригнулся лес. И посыпались с яблонь цветы, а с березок сережки. Поломалось сухое пеньё.

Крестом распростертая обмерла у креста Богородица.

И страх объял землю.

Мертвецы поднялись из могил и с кладбищ от застав побрели. На площадях и перекрестках смешались с живыми.

Холодом повеяло.

Стал мороз.

И в кромешной тьме летало, шипело ужасно. Ветер дикой волною ходил. Стук стоял страшный, ковали железо. Стонало, плакало. Человека душили. Огненные стрелы плыли по небу. И воздух порола несытая плеть.

И вот с краю на край пошатнулся храм.

Разорвалась завеса у царских дверей.

Распались камни.

И вся тварь восстонала.

Звери, птицы, поля, леса и болота, травы, цветы, кусты, вода, камни и звезды—вся тварь восстонала.

Восплакалась Мать Пресвятая Богородица:

— Господи, прости им, не знали они, что сделали!

Михаил Слонимский.

Антихристово причастие.

В жилах моих течет древняя кровь, и я верю в чудо. Живу я, как Лот, в беззаконном городе и жду: вот-вот постучатся в дверь два странника и скажут:

— Бен-Ашел, иди с нами, ибо мы истребим этот город. Велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его.

Но не приходят странники: вижу я только прежнее небо и прежнюю землю, и не дано мне увидеть новое небо и новую землю. И людей встречаю я с прежними человеческими лицами, нет на носатых и безносых лицах этих знака Божия и в глаза сатана засел: из ада закинул петлистую сеть и крепко притянул людей к земле. Не подымет человек глаз к небу.

Но я верю в чудо и с соседом моим Никифором часто веду религиозные беседы.

— Никакого чуда нет,—смеется Никифор. — Вот-те Христос, нету чуда. Помилуй: какое такое чудо, если цены на шнур поднялись? Это не чудо. Никакого чуда нет.

Однако, в неделю три раза кормит меня Никифор обедом. В остальные же дни я этого тихого развлечения себе не позволю.

К Никифору все такие же, как он ходят: толстобрюхие и в поддевках бесовы послы.

За обедом однажды расстегнул Никифор ворот, освободил красную шею и стукнул по столу.

— Никаких чудес на свете не бывает. На свете деньги есть. Это да. А чтобы чудо — чудес на свете нет.

И ко мне:

— Вот вы говорите: сам человек есть чудо. Да... Да...

Стукнул вдруг по столу.

— Да я человека вашего — хотите? — с маслом съем.

— То есть, как это с маслом?—спрашиваю.

— А вот так с маслом. Хотите? Да что откладывать. Завтра приглашаю — бифштекс из настоящего человека, масла поджарить не пожалею.

И ко всем:

— На завтра — к обеду. Откушайте мяса человечьего, но знайте, что человек наш либо баран—все одно и то же.

Встал я тут в возмущении и страхе.

— Берегитесь,—сказал я,—не кощунствуйте. Распадется мир от таких ваших слов и поступков.

Никифор смеялся.

— Небось. Стены в дому крепкие.

Ночь провел я в ожидании: вот-вот постучатся в дверь два странника в белых одеждах и выведут меня из беззаконного города.

Ночь прошла и утро. И вот — стук в дверь. Отворил я и глаз на ангелов поднять не смею. Только над ухом слышу бас Никифора:

— Готова жареная человечина. Идем.

Вижу я: искуситель толстобрюхий стоит и ухмыляется. И постигла меня тут великая мысль.

Не хочет, думаю, Бог чуда творить — так заставлю Его. Съем человека. Если беззаконцы человека съедят—не посмотрит Бог. Пусть. А если я, верующий, человечиной накормлюсь—не попустит. В ад меня ввергнет, а чудо сотворит. Погибну я, но зато люди увидят, что бывают чудеса на свете. Гибелью своей человечество спасу.

Пошел за искусителем. А за столом сидят уже одиннадцать, поглаживают животы. Я — двенадцатый,

Суп кое-как, торопясь, съели. А потом вынесли блюдо, а на блюде — двенадцать кусков жареного человеческого мяса.

Никифор встал.

— Сейчас наступит великий момент. Мы человечину...

И затрясся весь, волны пошли по нему. Никифор упал на стул, рот салфеткой закрыл — захлебывается.

И товарищи его гогочут.

— Ага, — подумал я, — начинается.

Но оправились все. Никифор отер глаза салфеткой, сказал:

— Со страхом Божиим приступим.

И разложил по тарелкам жареную человечину.

Сижу я с вилкой и страшно мне: присутствую на Антихристовом причастии: Антихрист и двенадцать бесов. И я среди них — один, как Иуда-предатель. Только Иудой быть тут — Божье дело.

И начали бесы человека жрать. Оглядываюсь — стоят стены крепко, не шелохнутся.

Тут вонзил я нож и вилку в жареного человека. Подумал:

— Господи! Для Тебя!

И отправил в рот жареный кусок. Пожевал — ничего, вкус в роде баранины. Еще отправил, и еще. Так все, что на тарелке лежало, и съел.

А стены стоят крепко, не шелохнутся.

Никифор сказал:

— Молодец. Здорово с жареным чудом разделался.

Я поднялся с места, трясусь, и слезы градом. Стою так, руки прыгают, плачу. Все замолчали, не улыбаются.

Никифор поглядел на товарищей и сказал:

— Жалко. Ни за что подшутили над древним человеком.

И ко мне:

— Друг, извини. Это мы подшутили над тобой. Шутка это все.

Я возмутился.

— Хороша шутка — человека съели. Оставил Бог людей. Такое попустил.

Никифор замахал руками.

— Да что вы. Это не человечина — это баранина, с рынка с Сенного. Баранина.

— Не всякий человек — баран, — ответил я. — Да. Не по бараньему пошел я за тобой, а чтобы Бога на чудо вызвать.

Тут все гости вступились. Кричат:

— Баранина, а не человечина. Это шутка.

Отмахнулся я.

— Прочь. Так не шутят. Съесть человека или не съесть, а даже в жареном виде он человеком, а не бараном остается. Прочь, нечестивцы.

И выбежал как был без пальто и шапки, проскочил по лестнице во двор.

Мороз. В прорез меж крыш — звезды, на меня не смотрят.

А я не могу на месте стоять. Трясусь, как звезда, и все бежать хочется. Все бежать. Кручусь по двору и вижу — из-под арки быстрыми шагами спешит за мной военный в папахе. Прямо ко мне.

Я подумал:

— Конец. Убьют и как собаку съедят.

Убегаю от военного, а он за мной. Я пробежал на задний двор, к помойке. Стена — некуда бежать. Конец. Трясусь у стены.

А военный подошел ко мне, передохнул и спросил:

— Скажите, пожалуйста, где тут уборная?

Тут дрожь оставила меня. Гляжу на военного — лицо сытое, как у Никифора, и разговаривает деловито и вразумительно. Глаз к небу не подымает.

Я указал ему, что нужно, и чувствую: спокойствие на меня нашло. Пусть.

Поглядел на небо. Звезды для меня светят. И небо новое, не для всех, и земля новая.

Вернулся к Никифору, взял у него пальто и шапку и сказал:

— Прощай. Спасибо. Научил меня. Ты — при своем, я — при своем. Знаю я теперь все.

И пошел.

Конст. Фединъ.

Про радость.

Сказочка.

Наташке Грековой.

Кряхтел-пыхтел на свете божьем мужик.

Сызмальства пришлось ему, болезному, туго, а как подрос—еще того хуже стало: никто ему доброго слова не скажет, всяк норовит его только в ярмо впречь. Схмурился совсем человек, солнцу ясному не рад, на людей не смотрит, все только твердит:

— Нет на земле человеку радости.

Бабка его,—древняя старушка, от ветра качалась,—говорит ему:

— Должен человек на земле радость иметь, хоть раз за всю жизнь, хоть от тли какой, а должен.

Ну, да ведь известно, что с бабки взять—ни проку от нее, ни прибытку. Твердит мужик:

— Нет на земле человеку радости.

И правда: убралась на тот свет бабка, древняя старушка, и мужик постарел, согнулся в три дуги, иссох—а ни разу за всю жизнь не усмехнулся.

Приходило лето—летовал мужик в поле, наступала зима—зимовал в избе; бродит по земле сутулый, волосатый, руками, словно пугало, помахивает, ногами, кочерыжками, погромыхивает, на людей не глядит, брови супит.

— Нет на земле человеку радости,—бурчит себе угрюмо в бороду.

Так его и прозвали—Угрюм.

Идет как-то Угрюм базаром, а навстречу ему старушонка бежит, от ветра качается, точь в точь—покойница-бабка.

— Купи,—говорит—мужик, у меня ежа.

— На что он мне?—отвечает Угрюм.

— Так, веселей станет. А он тебе крыс ловить будет

— Какая от ежа веселость,--говорит Угрюм, и думает наплодилось у меня в избе да по закромам крыс целое войско, разве и впрямь купить ежа, пусть одна нечисть другую пожирает...

— Давай,—говорит.

Завернул ежа в платок, завязал узелком, принес домой.

Лежит еж у Угрюма в уголке в горнице. кругляч ком свернулся, не шелохнется. Сунул ему Угрюм кусочек творогу, стоит, ждет, что будет. Опустил звереныш свои иглы, тихонько нос острый сквозь щелочку высунул, поводит им, сопит. Воровато потом рыльце высунул, мокрым ртом чмокнул, проглотил творог и опят круглячком свернулся, не шелохнется

— Ишь,—сказал Угрюм,—по нраву небось!

Да опять ему кусочек лакомства подсовывает, сам поодаль зверька становится, пятерней в бороде поскре бывает, ждет, что будет.

Провозился Угрюм с ежом до вечерён, не заметил как смерклось. Да так до тех пор, пока не приручил ежа, так что совсем зверюшка домашним стал, вроде шавки—на зов бежит, коготками по полу постукивает иглами шуршит, носом острым крысиным пофыркивает А как войдет Угрюм после работы в горницу, еж нему так и бросится, от радости лапти ему грызет норовит все хозяину в лицо глянуть, да только ло звереныш у на глаза насел—не пускает тварь человек узреть. А за обедом тычется еж под столом в нога Угрюма, подбирает объедки, отвечает на хозяйски разговор крысьим сопом.

Перестал еж ежиться.

А мужик Угрюм кончит работу—торопится скоре домой, с ежом разговаривать, объедками кормить твар колючую.

— Куда бежишь, Угрюм,—кричат ему встречные,- ныль радость какая?

Хмурится Угрюм, отвечает:

— Какая на земле человеку радость?

Вот так раз осенней пасмурью вернулся Угрю домой, почмокал, как всегда, губами, прислушался

тихо. Заглянул туда, сюда—нет ежа как нет. Стал тут Угрюм по всем тайникам шарить и в сенях, и за печью, и под половичкой, и добро все свое переворочал—еж как в воду канул. За ужином только, сидит Угрюм, лениво кашу уминает, слышит—под ногами сопит кто-то. Нагнулся—еж. Совсем другой стал звереныш: увалень какой-то и ползает, словно ему пимы надели иль когти обрезали—неслышно. Накинулся на еду, давится, чавкает во всю горницу, а как проглотил последний кусочек—еще просит, за лапти Угрюма хватает, хрюкает.

Понял тут Угрюм, что настала пора зверю к зимней спячке готовиться, и подумал Угрюм. что зима будет долгой.

И как начались после Покрова засидки—пропал еж опять. Поджал Угрюм, поджал, думал все: не проснется ли еще разок, чтобы пожрать поплотнее,—а потом принялся по всем углам шарить, нечисть колючую разыскивать. Много Угрюму трудов стоило отыскать ежиное логово, да охота пуще неволи. Залег звереныш в дальний угол под печкой, свернулся колобком и точно умер. Потрогал его Угрюм пальцем, перевернул, положил опять по-старому, вылез из-под печки, отряхнулся и вздохнул.

Поползли дни осенние, долгие, с дождями да туманами, а потом надул ветер морозы, закрутились вьюги ледяные, остыла земля, как покойница.

Скучно Угрюму, одиноко. Ходит он, руками, словно пугало, помахивает, ногами, кочерыжками, погромыхивает, на людей не глядит, брови супит.

— Нет человеку на земле радости,—бурчит себе угрюмо в бороду.

Да нет-нет заберется под печку—пошевелит ежа пальцем, понюхает: жив ли.

По-весне с теплым ветром налетела на Угрюма хворь, почернел мужик, как головешка, видно и впрямь смерть пришла.

Лежит как-то Угрюм на лавке, в огневице мечется, кончины дожидается. Слышит, на руку ему—рука у него до полу свисла—точно капли воды студеной падают. Глянул—а на полу ежик, словно пьяный. носом своим крысиным в руку ему тычется, будто лизнуть хочет.

Откуда силы взялись у Угрюма—с лавки как вскочит, да точно дитя малое на полу круг звереныша и заелозил. Кричит, лопочет, чуть не захлебывается:

— Радость ты моя, еженька мой, проснулся!

А как начал еж сметану есть да перемазал себе все рыльце—закатился Угрюм нутряным смехом радостным, первым смехом своим детским, счастливым, закатился так, да и отдал Богу душу.

Так на утро нашли его в мрачной горнице: лежит Угрюм на полу, скрючился весь, а на лице застыло сиянье радости.

Обуховская больница.
12/XI—1921.

Ольга Форш.

Синекура.

(Из книги „Обыватели“).

Зеньчугову надо побриться, чтобы в салон Вэллы Исаковны явиться не как-нибудь...

Перед ним вывеска: черная рука с перстом указующим и под нею

Голярня Деденка за рогом.

Голярня от слова голый, корень вне сомненья — что же кроме бани? А в бане брадобрея искать уместно. Перст указует в пустое пространство, значит свернуть за угол. Рог — угол.

Свернул; все как по-писанному. В первом же стекле окошка из ниспадающих белых складок глядится крутой затылок туземца.

— Хиба ж це и есть самая голярня? — воображая, что говорят по-украински, спросил Зеньчугов.

— А хиба ж вы не бачите? — вопросом ответил хозяин и поманил пальцем хлопца: Тишкò!

Хлопец безмолвно обернул хомутом длинное полотенце вокруг шеи Зеньчугова, подоткнул, спустил концы сзади до полу и приступил к обработке лица.

— По смётке у вас здесь действовать лучше, чем по созвучию с родственным языком. По созвýчию, у вас попасть можно совсем даже не туда, куда попасть хочешь. Вот я на вокзале...

Но молчал в ответ хлопец, молчал хозяин, молчали намыленные губы соседа. Зеньчугов сконфузился и оборвал...

А хотелось ему рассказать, как привлекаемый крупной надписью «коровничий», он настроился на покупку продуктов молочных, но вместе со своим чайником выведен был из приемной начальника станции. „Коровничий“-то оказался он, и презлой.

— Неразговорчивы здешние люди, и, предав свою личность в руки хлопца, Зеньчугов стал мечтать.

— Выбреется, пойдет к Белле Исаковне, получит синекуру и дело в шляпе. Завтра с утра в библиотеку, и за диссертацию!

Зеньчугов, кандидат математических наук, оставленный при университете, уже два года ведет жизнь человека на дне. Не ест—перехватывает, на ногах самоделки, одет во второй класс и в ломберный стол.

Иначе говоря, ненужную буржуазность фрака Зеньчугов выменял на два экса: на тигровой масти плюшевую обивку с диванов второго класса и на зеленое сукно карточного стола. Саморучно сшил себе из этой добычи верх и низ.

Сейчас Зеньчугов был в приличном „ансамбле", в сапогах, брюках и пиджаке, коллективно одолженных профессором и художником до обжития в новом городе.

Знакомые профессор и художник, у которых проездом гостил в деревне москвич Зеньчугов, послали его сюда устроиться на зиму, чтобы, наконец, написать диссертацию.

— Это, братец, тебе синекура — не служба. Говори о каком-нибудь „звездном небе" и за это, без потери собственного достоинства, ешь пшенную кашу. О Бэлле Исаковне все отзываются — щедрая.

У Бэллы Исаковны был собственный кинематограф с богатейшими фильмами. И хоть значился он сейчас за „Губернпяльным Впдділом" какого-то „Просвіта" и звался уже не сладким зовом „Потерянный Рай", а каким-то безглазым номером, всем по-прежнему ведала Бэлла Исаковна и звала кино — „мое заведение". У Бэллы Исаковны было свое честолюбие: ей мечталось, чтобы картинки фильмы рассказываемы были именитыми специалистами. С той же страстью, как иной гимназист собирает редкие марки, улавливала она заголодавших интеллигентов, пригоняя к каждой фильме соответствующую ей разновидность.

Бэлла Исаковна нюхом узнавала о присутствии какого-нибудь „маститого" или просто с „трудами" или еще только „подающего надежды" и немедленно посылала конверт с твердой карточкой и приглашением: усилить кадр сознательных работников просвещения в целях поднятия культурного уровня страны.

Даже в дикую деревню получили подобные приглашения знакомые Зеньчугова.

— Будь мой предмет не богословие, а хотя бы ботаника, — говорил профессор, — я бы дернул отсюда. Зимой в городе веселей.

Но богословие, по отнесении книг прежних богооткровенных к предрассудкам контрреволюционным, профессора прокармливать в городе не могло, и волей-неволей он пригвоздился к деревне, где за чтение апостола непременно по гречески получал мукой и крупой.

Художника не отпускали селяне, покуда он не выправит всей деревне таких подсолнухов на ставнях, как выправил исполкому. Да и сам художник на варениках как кот раздобрел—и сдвинуться была не охота.

Насмотревшись на сытость знакомых, Зеньчугов взбунтовался: не захотел вдруг самодельной одежды, не захотел привязывать подошву веревкой. Разве не он оставлен при университете? Не он пишет диссертацию?

А художник ну подзуживать:

— Мы устроились, чем ты глупей? Наша планида в деревне, твоя в городе. Нафламмарионь ты этой Бэлле „Звездное небо“ по своей специальности помахровей— месяц чтоб фильму не сняли, а ты себе знай, пиши диссертацию. Только в Бэллу эту самую смотри не влюбись, обернет вокруг пальца. Впрочем, раз она Бэлла, значит мордоворот. Я знавал и болвана Платона, и такого, братец мой, Аполлона...

— Да уж лучше-б она некрасивая, — соглашался Зеньчугов,—у меня, знаешь, какая-то беззащитность перед женской красотой. Я как воск от огня...

Зеньчугов слабости своей не на шутку боялся после двух опытов спасания падших девиц.

— Это оттого, что ты мастью рыжий и професией— математик. Отвлеченный, да еще рыжий человек уж этим славится—влюбчив.

Растекаясь в думах, Зеньчугов и не приметил, как хлопец взял ножницы и обрезал ему его огненные волосы, по собственному вдохновению, что называется, „под горшок“. Это техническое название происходит от хитрого измышления селян надевать на голову подходящий горшок, чтобы по его краю ровнять стрижку.

Зеньчугов очнулся, глянул в зеркало и обомлел.

В зеркале стоял не будущий доцент, не кандидат, а Бог его знает кто, с глупо насаженным рыжим париком.

— Эк вы меня!—сказал он горестно.

— По вашему, по москаливски, це голова с бородой—двойная плата,—сказал равнодушный хлопец,—преследуя одни свои хищные интересы.

Историю подымать было глупо: обрезанные волосы за минуту были как-никак собственностью головы. Зеньчугова и не ему же было росписываться, что за своим же добром он не досмотрел.

II.

По указанному профессором адресу кинематографа не оказалось. На расспросы Зеньчугова, куда делся „Потерянный Рай" или „Відділ Просвіта", — никто не знал. Но едва, потеряв терпение, спросил он с досады последнее, что взбрело на ум:

— Где салон Бэллы Исаковны?

ответили и вопрошаемый и мимошедшие: вон Бэлла Исаковна! Кино помещалось напротив, в бывшем частном театре.

— Только-б столичного достоинства не уронить,— и робеющий Зеньчугов решил сразу, наскоком, загнуть Бэлле Исаковне свои условия насчет „Звездного неба".

В большом кабинете рядом с залом театра он увидал красавицу в черном платье с начесанными на уши висками. Она без жестов, одним поворотом головы отдавала приказания то и дело подходившим френчам.

— Эдакая Сара Бернар в Клеопатре — ишь позерка,—защищался как умел Зеньчугов и вместе с тем не без злорадства подумал: если это и есть она—Бэлла, так и должник с „мордоворотом" сел в лужу.

А она, когда очередь дошла до Зеньчугова, сказала, прочтя письмо профессора:

— Есть у вас книги? Учебники? Диссертация?

Блистали зубы, блистали в ушах бриллианты Тетали, нет ли, но Зеньчугов обмяк и смешался.

— Я книгу еще только пишу...

— А-а,— протянула Бэлла Исаковна,— с понедельника у меня новая программа; все дни заняты специалистами, у которых „труды". Вас же я могу допустить

лишь на детские фильмы. Да вот сегодня... Как раз день „Подснежника", праздник детских садов. Попробуйте, гастролируйте! Начало через час. Просмотрите фильму.

Зеньчугов раскрыл было рот отстоять „Звездное небо", но Бэлла Исаковна, отклоняя ручкой возражения, так очаровательно улыбнулась и одним поворотом головы, как мадам Рекамье, сидящая на козетке ампир, приказала подручному юноше:

— Проведите профессора на демонстрацию фильмы.

III.

Зеньчугов, одурманенный Бэллой Исаковной, шагнул вслед за юношей в черный карцер, где вдруг утонул в мягком самоподкатившемся кресле.

— Фильма дома Патэ,—пробасило сзади.—Болонка Джильда и фокстерьер.

Глупая болонка перебирает лапками, глупый песик беззвучно над ней лает, штуки Дурашкина, веночки, цветочки—чорт знает, как про такой вздор рассказывать. Эх, надо было отстоять „Звездное небо".

Если-б не улыбнулась Бэлла Исаковна, Зеньчугов бы и отстоял. Небось пред двумя зеркалами изучала эту свою Клеопатру и Рекамье. Ну что же: за такую улыбку и вообще на тех же условиях—Египетские ночи—можно хоть на смерть, и что теперь жизнь?

— Базар в Аббации. Дети входят в школу, муэдзин торопится к минарету.

Рябит в глазах фильма. И вот уже:—Муэдзин возвращается из мечети, дети вышли из школы. И марка фирмы Патэ: девочка держит ленту „конец" и ручкой делает поцелуй.

— Все,—сказал бас.

В темноте Зеньчугов впал в забытье. Его разморило. Ночью его давили в вагоне, сегодня с утра он не ел. И вдруг эта Бэлла... как же, мордоворот она, чорта с два...

— Товарищ профессор, вас зовет Бэлла Исаковна!

Зеньчугов кинулся вон из карцера.

Бэлла Исаковна, как монашенка, в черном, застегнутая под самый ослепительный подбородок, без жестов, с одним поворотом головы сказала:

— Дети собираются, вы пройдете на место капельмейстера, оттуда подыметесь на эстраду и расскажете картинки. Надеюсь, вы запомнили?

И не принимая возражений, опять улыбка, опять приказ френчу: проводите профессора в оркестр.

И опять безвольный, одурелый, голодный Зеньчугов, стуча сапогами, толкая пустые пюпитры, пролез на вышку капельмейстера.

Френч исчез. Зеньчугов глянул в партер, глянул в ложи.. Черные, золотистые головы, дети красношеие, бледные, в бантах, в белых фартуках, разноцветные, или целыми пачками однообразно-серые, возглавляемые педагогами обоего пола. Как мыши на епископа Гаттона, посыпались они из дверей, во все ряды лож и партера. Их вводили за руку, они вваливались сами с визгом и топотом; самых мелких вносили няньки.

И перед этой оравой кандидат Зеньчугов, оставленный при университете и в поисках синекуры „остриженный под горшок",—чернел одиноко в пустом оркестре.

У Зеньчугова екнуло сердце. Он сполз с вышки капельмейстера и присел на приступку, так что высокий барьер спасал его от детских глаз.

Визг, гул, ад...

И пред носом опять этот френч.

?

— Бэлла Исаковна просит не ошибиться: ваше обращение к детям должно быть „граждане-товарищи", слово „дети" отнесено к сантиментальным привычкам буржуазии. Извольте идти на эстраду.

Зеньчугов взошел по лесенке на авансцену и как от отчаянной погони кидается человек не глядя в воду, он завопил:

— Граждане-товарищи, дети!

И взвизгнули, и радостным, мышиным писком заголосил весь зал:

— То-ва-ли-си!

И вытянув губы, приготовились повторить все слова Зеньчугова.

Но Боже мой, какие слова! Ведь Зеньчугов забыл фильму. Помнит он только: Бэлла...

Яростный кинулся френч: Бэлла Исаковна приказала немедленно говорить.

как в гипнозе выпалил Зеньчугов:

— Великодушный слон!

Он рассказал из хрестоматии про слона, как может рассказать лишь один математик, всю жизнь знавший одну свою математику.

Он диктовал: длинно, размеренно — но вышло хорошо.

Дети были довольны, они поспевали повторять... Как от тысячи ульев гудел театр.

— Пожар охватил хижину. Великодушный слон спас проводника, подвергая опасности собственный хобот.

На хоботе Зеньчугов задержался. Восхвалял всячески непостижимый орган. Увлекся. Правой рукой изображал его гибкость, пальцами цепкость; пошарил в кармане, бросил на пол окурок, показал, как хоботом слон сумел бы поднять.

И дети за Зеньчуговым все руку вверх, все пальцами, все что-то бросили, все сползли на пол...

Бешеный френч подскочил:

— Бэлла Исаковна приказала кончать!

— Я кончаю!—крикнул на полуфразе Зеньчугов и сошел с эстрады.

Бэлла Исаковна стояла тонкая, змеистая, глаза метали молнии, как у гневной богини.

— Для кого это вы сделали секрет из дежурной фильмы? А? Я вас спрашиваю! И причем тут ваш слон вместо болонки Джильды и фокстерьера, вместо видов Аббации и сюжета комического? Дети будут требовать слона. Вы мне сделали скандал. И кому дело до вашего хобота с окурком. Вы мне съехали всех детей на пол!

Маленькие ручки Бэллы Исаковны так и сновали пред глазами Зеньчугова, как бы вознаграждая себя за вынужденную неподвижность, налагаемую этикетом мадам Рекамье.

Адский визг в театре покрыл ее речь. И френч-меркурий, влетел, как бомба:—Аббацию дети не смотрят; кричит вес театр—слона.

— А-а,—как раненая тигрица простонала Бэлла Исаковна и, схватив за рукав Зеньчугова, потащила его к сцене.

— Бэлла Исаковна,—бормотал Зеньчугов,—это все из-за вас, это ваша улыбка, Бэлла Исаковна.

Бэлла Исаковна впервые глянула на Зеньчугова не как на предмет, вдруг поняла, подбородок ее дрогнул и она засмеялась. И не как Рекамье или царица Клеопатра, а просто засмеялась отлично и весело.

— У вас это что на голове, парик?

— Нет, это такая стрижка, в голярне...—Зеньчугов умирал.

— Совсем не в голярне, в перукарне надо стричься. Изуродовали вас... впрочем, сейчас это кстати. Стойте тут за кулисой и слушайте, как я буду исправлять ваш хобот слона и на какую должность я беру вас в заведение.

И чрез минуту грудной красивый голос Бэллы Исаковны сказал громко и отчетливо на весь театр:

— Товарищи-граждане! Ведь вы не скажете, что не бывали в цирке и не видали там клоуна? И неправда ли, рыжего? Рыжий всегда делает то, чего не ожидаешь. У нас в кино такого рыжего будет делать товарищ Зеньчугов. Он нам сейчас нарочно говорил о слоне, чтобы узнать, умные вы дети или нет? Если вы умные дети, так вы посмотрите себе тихо собачек и виды Аббации, а потом товарищ Зеньчугов еще вам расскажет, что ему, как рыжему, войдет в голову. И это будет опять не про то, что в фильме Патэ. И это очень хорошо: вместо одного, у вас выходит два представления. Сейчас выйдет наш рыжий!

И дети, сколько их было в ложах и в партере, завопили: рыжий, рыжий!

А Зеньчугов, сбивая всех с ног, летел что было духу вон из театра.

Мариэтта Шагинян.

Темная комната.

На местах случайных ночевок, где-нибудь в гостинице, в столовой у знакомых, на вокзале между двумя поездами,— вы даже не оборачиваетесь вокруг своей оси и, закрыв глаза, вряд ли смогли бы в точности представить себе окружающую вас комнату.

Точь в точь так поступил и господин с чемоданом, только что вошедший в помещение, именуемое номером.

Это был именно только «номер», воспроизводивший, без вдохновенья и новизны, бесчисленных своих соседей: то же длинное стенное зеркало, диван и два кресла, вокруг нелепого стола; та же ширмочка, отделяющая кровать, умывальник и рваный коврик на полу. В окно, раскрытое на юг, лились лучи солнца, и узкие, в трубку свернутые листья миндального дерева качались над самым подоконником. В пролете окна синело такое синее, такое густое небо, словно его раз двадцать просушивали и снова покрывали краской. Господин с чемоданом бросил шляпу на диван, а чемодан, казавшийся подозрительно-легким,—на стол. Сам же, с видом человека, вовсе не заинтересованного окружающей обстановкой, ни на что не глядя, опустился в кресло.

День за окном потухал, и небо постепенно разжижалось. Наступил час, когда ветер в приморских городах на миг затихает, и деревья делаются неподвижными. Слабое колыханье миндальных веток остановилось, солнечные лучи пошли косыми, красноватыми полосами куда-то в сторону, а новый постоялец все сидел, не поднимая взгляда. Наконец, он достал из внутреннего кармана уже распечатанный конверт, вынул бумажку и перечитал ее необыкновенно медленно, буква за буквой, несколько раз.

Пока он читает, мы его разглядим. Это—сильный крупный мужчина с немного плоским затылком, каки бывают у младенцев, „отлеживающих“ себе голову. Вс его лицевые оконечности сильно развиты в профил нос, губы, подбородок, надбровные холмики—рез выдвинуты вперед; белые, безволосые руки розовеют расплющиваются к ладоням, подобно телу ползуще улитки. Во всем его облике смесь чувственности стремительности; только грустный большой лоб с я ными и строгими линиями облагораживает, подоб фронтону, эту слишком массивную постройку.

Человек, остающийся наедине, выражением лиц всегда выдает себя. Без свидетелей люди становятс либо лучше, чем были на людях, либо хуже,—но вс гда это улучшенье или ухудшенье есть возврат к свое подлинной сущности. Господин, сидящий в кресле, к жется похудевшим,—от охватившей его на свобо влюбленности. Рот, это таинственное подобие пола, пр нял немного нецеломудренное выражение; нижняя гу выпятилась, верхняя приподнялась, обнажая здорови красные десна. В серых глазах, устремленных на б магу, тот пепельный, белесоватый налет, который х рактеризует собою уже забывшегося человека.

Внезапный скрип двери—и охваченное страст лицо превратилось в маску. Подобрав губы и скомк письмо, он вскочил с места:

— Что такое? Кто там?

В комнату заглянул растрепанный корридорны мальчик:

— Барин, это вы звонили?

— И не думал,—раздраженно ответил мужчина, впрочем, постой, я сейчас ухожу и вернусь позд Ключ кому оставить?

— Внизу, у барышни, только наперед пожалуй паспорт.

Господин тотчас же вынул паспорт, из того сам кармана, где было письмо, отдал его мальчику, а сам, н дев шляпу глубоко на глаза, вышел из номера и впло до конторки, где восседала барышня, шел очень б стро и как будто даже с предосторожностями,—чт никого по дороге не встретить.

Он вернулся в двенадцатом часу ночи, получ обратно свой ключ и поднялся к себе наверх

меньшею осторожностью, нежели прежде. Дыхание его выдавало, что он плотно поел пряных местных блюд, сдобренных помидором и перцем, и запил их вином. Войдя к себе, он пустил электричество, вынул часы с цепочкой и положил их на стол, циферблатом наружу. Они показывали четверть двенадцатого. Затем он прошелся раза два по комнате и заглянул в умывальник.—воды там оказалось на самом донышке. Тогда незнакомец принялся искать звонок, но, не найдя его, вышел в коррндор.

По мудрой провинциальной манере, еще не совсем исчезнувшей. звонок в гостиннице устроен был с наружной стороны, в коррндоре. и должен был обслуживать несколько номеров. Господин позвонил и, зайдя на порог своего номера, стал ждать появления мальчишки. Босые ноги мягко затопали по лестнице.

— Послушайте, принесите мне побольше воды в умывальник,—сказал он из своего прикрытия.

Вода была принесена, и умывальник наполнен доверху. Тогда наш незнакомец старательно запер дверь на ключ, снова взглянул на часы и подошел к окну.

Ночь была чернее колодца. Дул с перерывами сухой, горячий норд-ост, засыпая подоконник пылью и нагоняя на крутое небо, кое-где еще поблескивавшее звездами, сплошные, черные тучи. Клубы их расползались, как дым, и от их заволакивания внизу. на земле, становилось еще темнее и душнее. Господин захлопнул окно, закрыл его плотными ставнями и задернул ковровою шторой,—с поспешностью человека, имеющего перед собою определенное дело.

Чемодан стоял на столе. Это был крохотный чемодан русского изделия, брюхастый, с непрочной жестяной застежкой, видимо купленный на скорую руку. Господин щелкнул замком, приподнял ремни, и обе его половинки легко, словно чешуйки лопнувшего боба, упали направо и налево, обнажив почти пустую сердцевину. Там лежала, свернутая в трубку. смена белья, бутылка одеколону, просочившаяся на дно и запачкавшая белье желтыми, остро пахнущими пятнами, мыло, зубная щетка и кое какие не хитрые принадлежности мужского туалета.

Все время поглядывая на часы, мигавшие ему своими ресницами-стрелками, господин стал раздеваться. Мы

наблюдаем за его туалетом, не вдаваясь в слишко
большую нескромность. Скажем только, что, когд
очередь дошла до мытья, незнакомец не удовольстс
вался тоненькой, ежеминутно прядавшей струйкой,
закрыв проточное отверстие, напустил в таз целое ведр
воды и полоскался в нем, как утка, фыркая, чмока
и отдуваясь с наслажденьем возбужденного человек
Потом он вытер лицо и грудь мохнатым полотенцем
налив на ладони одеколону, растер себе ими все тел
Потом он сполоснул и вычистил зубы, обвел ногт
костяною щеточкой, пригладил мокрые волосы и, ра
стегнув бельe, спустил с себя все на пол. Наблюдая з
ним и теперь, по обязанности автора, я не могу н
отметить, что это мужчина поджарый и крепкий,
беклиновской породы волосатых существ с цепким
но совершенно безволосыми оконечностями, — странн
противоречащими мохнатой груди. Он со вкусом
очень медленно начал одеванье, сперва пустив в хо
чистые носки, потом достав, вместо запыленных д
рожных башмаков, щегольские ночные туфли на мягко
подошве.

Нет нужды прослеживать за ним далее. Скаж
только, что когда стрелки на часах приблизились
без четверти двенадцати, незнакомец накидывал н
себя мягкий фланелевый халат. И как раз в это врем
скверная электрическая лампочка, слабо горевшая н
верху с красноватым оттенком, вдруг начала медленн
медленно угасать.

Незнакомец только что собрался поглядеть на себ
в зеркало. Он был в несомненном волнении, — черт
лица обтянулись у него, как в лихорадке, мускул
напряглись, глаза углубились и удивительно похор
шели. Увядание света на потолке раздосадовало ег
Он поднял голову наверх и нетерпеливо уставилс
на лампочку. Свет, дошедший было до тусклой кра
ноты, снова стал разгораться и уже достиг прежне
яркости, как опять невидимая спазма сократила ег
на этот раз гораздо скорее прежняго, и не успе
господин оглянуться, как лампочка наверху потухл
Таков уж был экономный обычай приморского городк
станция, предупредив жителей, к полуночи отнимал
свет.

— Чорт возьми! — сказал господин, очутившись

полной темноте. Он не курил, спичек у него не было. Взволнованный, чисто вымытый, надушенный, в чистейшем белье, в элегантном халате, стоял он посередине комнаты, слегка растерявшись. Ему надо было в точности знать время. Но как это сделать? Самое разумное—выбраться в корридор и позвонить номерному мальчишке. Он решительно двинулся с места.

Но глядя наверх, незнакомец утратил правильное представление о четырех стенах своей комнаты. Он шагнул туда, где, как ему казалось, была дверь,— и наткнулся на кровать, пребольно разбив себе коленную чашечку. Охая и потирая ушибленное место, двинулся он в противоположную сторону от кровати и уперся в мягкую обшивку дивана. Тогда, шаря по ней обеими руками, он, наконец, добрался до стены и решил не отступать от нее, пока не нащупает двери. Но самые простые вещи иной раз становятся непреодолимыми. Номер, по капризу неведомого строителя, был весь облепан филенками, повторявшими вдоль стен характерные, прямоугольные плоскости, с ребрами вокруг, как это делают обычно на дверях. Скользя рукой по этим филенкам, незнакомец принимал их за двери; он водил ладонями по выемкам, поднимал их до карнизов, нагибался к самому полу—и нигде не находил ни дверной ручки, ни замочной скважины, ни ключа. Тогда, на мгновенье остановившись, он решил сообразить, где может быть дверь, и стал припоминать расположение мебели. Ему вспомнилось, что прямо против двери висело стенное зеркало. Он решил отыскать его и уже от него, по прямой линии, пересечь комнату. Но по пути к зеркалу он сделал еще одну попытку: наткнулся на ковровую занавесь, проник к окну, приоткрыл ставню—ничего, нигде ни единого клочка света; окно выходило в тупик; разыгрывался ужасный осенний нордост; с треском и свистом гнулись внизу деревья, пыль обдала его душным запахом, небо чернело, сплошь забросанное волокнами туч. Не было ни луча, ни мерцанья, ни перехода к иной степени темноты, которые могли бы помочь глазу. Ничего, та же безнадежная тьма.

Вздохнув, он задернул окно и добрался ощупью до зеркала. Стал, прислонившись к нему спиной, вытянул вперед руки и зашагал, как ему казалось, по

перпендикуляру. Но не тут-то было! Он, неизвестно каким образом, наткнулся на ширму, за которой должна была стоять кровать. Вернувшись к зеркалу, он повторил свою попытку и на этот раз поскользнулся на груде грязного белья, упал и расшиб себе лоб. Им овладела вспышка безумной раздражительности, свойственная нетерпеливым и властным людям. С бешенством рванулся он по диагонали, вцепился в стену и стал бегать вокруг комнаты, ощупывая однообразную обивку стен. В этом бесконечном круженьи он натыкался на кровать, стол, стенное зеркало, занавес и умывальник, потом опять на те же предметы, и опять. Но стенные филенки всюду походили на дверь, и в этой бесконечной двери нельзя было найти ни замка, ни скважины. Тогда он остановился в своем сумасшедшем беге, хрустнул пальцами и стиснул челюсти с такою силой, что они заскрипели.

Читатель, в нескольких шагах от него, в той же гостинице, ровно в половине первого, его ждала женщина, которую он любил безнадежно три года; с которой провел целый месяц в опасной и раздражающей близости, когда прикосновенье любимой руки начинает причинять не наслажденье, а муку; от которой был насильственно удален, и которая позвала его, позвала сама, несколькими страстными словами, написанными карандашом, на клочке бумаги, вырванной из мужниного блокнота. Он преодолел тысячу верст, исполнил все с той легкостью и удачливостью, что дается лишь Эросом, и когда весь план, казалось, должен завершиться сладчайшей наградой, он заблудился в четырех стенах своей собственной комнаты! Что-то, похожее на рычанье, вырвалось у нашего героя. Нелепость этой маленькой, детской преграды, после того, как он сломил ее упорство, обманул ревнивого мужа, одолел огромное пространство, показалась ему чудовищной. Потом, когда он сообразил свое положение, ему вдруг кинулась в глаза комическая сторона: человек не смеет, не должен быть смешным в самые напряженные минуты своей жизни; а он был смешон! Густые волны крови поднялись к его лицу и залили ему щеки, шею, уши; он почувствовал себя униженным. Тотчас же энергия его взбунтовалась. Глупости! Ну можно ли падать духом от чепухи! Твердыми шагами прошелся

он по комнате, отодвинул с дороги стул, шагнул к стене и — нащупал дверь.

Да, это была дверь, с обычною дверною скобкой. Он потянул ее к себе, она не поддалась. Ну еще бы! Ведь он запер дверь, когда начал мыться. Пальцы его скользнули туда, где должен был быть ключ, — и попали в скважину. Только в скважине этой, дышавшей на него приятным холодком, ключа почему-то не оказалось. Должно быть он свалил его на пол, когда метался по комнате. Странно все-таки, что не было слышно звука... Нагнувшись, он стал шарить по полу. Пальцы его запылились, на ладонь села паутина, но никакого подобия ключа на полу не было. Тогда он встал на колени возле двери и поглядел в скважину, — темно, совершенно так же темно, как и вокруг. Он сел на пол, не боясь уже запачкать белье и халат. Отчаяние, злоба, смертная ноющая тоска охватили его. Кричать бы и бить кулаками в эту проклятую дверь, — но даже и этого сейчас нельзя. А завтра все будет кончено, — она уезжает с мужем.

Он прислонил лицо к двери и представил ее на пороге соседней комнаты, полураздетую, с распущенными волосами... До сих пор его чувство к ней, даже в самые страстные минуты, было чисто. Сейчас чистота замутилась. Один, обезумевший от круженья по комнате, взвинченный дорогой, тряской в поезде и на пароходе, бесконечными перечитываньями зовущих, ласковых слов, мечтою о встрече, подготовкою к ней, уверенностью в том, что она состоится, наконец, — силою своих желаний, все время поощрявшихся этой уверенностью, — он потерял голову. Сейчас, в эти минуты, он мог бы, наконец, иметь ее всю. Какая она собой? Он представил себе белую пену кружева, тихонько сползающую с плеча. Руки его судорожно вытянулись и коснулись холодного ребра филенки. Ласкать ее... Он провел ладонями по всем изгибам двери, кусая себе до крови губы, задыхаясь и перевоплощая свою милую в эту извилистую дверную обивку. И душа возлюбленной отлетела из этой комнаты. И душа его самого, спрятавшись, ушла в самый дальний угол этой комнаты. Ни любви, ни страсти больше не было. С обезумевшим человеком осталась одна только похоть.

...Человек, оставленный нами у двери, раскрыл глаза все в той же непроницаемой темноте. Рядом с ним не было никого. С ужасом и отвращением снял он потную руку с двери.

Узенькие, как жидкая водица, лучики серого, слабого, нарождающегося света потекли, просачиваясь, сквозь все клетки тяжелой занавеси, и в комнате стали возникать предметы. Сперва неуловимо и безжизненно, как серые изваяния, потом теплея и материализуясь, выпырнули из темноты стулья, стол, диван, деревянная рамка зеркала, умывальник, кровать и, наконец, стены. Выступила, как раз напротив сидевшего человека, и спокойная белая дверь с торчавшим в ней ключом. Невольно вздрогнув, он перевел глаза на свою дверь, у которой просидел всю ночь, — это была глухая, замкнутая, ведущая в соседний номер и наполовину заставленная краем кровати. Он встал, содрогаясь от тошноты, уткнулся лицом в подушки.

Любовь, удача, неудача, возлюбленная,—все отошло в далекое прошлое. Главное же теперь было для него в том, что он ощутил себя за все, за всю свою жизнь,— виноватым.

Вяч. Шишков.

Царская птица.

I.

Старик тунгус весь день без передыха тайгой бежал и всё оглядывался: не гонится ли за ним страшная болезнь.

И не видно было, где она, только чувствовал Илейко, что заползаает в него змеей что-то черное, в голову ударяет, по всему телу огнем палит.

Шамана надо, скорее шамана кликать, пусть выгонит страшную болезнь. Илейко отлично знает: она лицо исклюет, глаза выпьет, накатится—задушит.

А как добежал до своего стойбища, упал на оленью шкуру и такое заболтал без разбору, что у сына с женой волосы зашевелились: даром что молодые, им тоже эта хворь очень хорошо знакома—лет пять тому весь народ в тайге перевертела.

* * *

Ночь была, небо темное. Ночь без звезд была, над тайгой тучи плыли, шумел ветер вершинами.

А там, в болотине, что у речки, в калтусе, шайтаны—таёжные дьяволята гукали. Им любо в такую темень поскакать, покувыркаться: стрекочут, посвистывают, хохот подняли.

Одноухая сучка Бойда ощетинилась, не любит шайтанью свадьбу, хвост промеж лап поджала.

А из болота: гук да гук. Ощерила Бойда зубы, тяфкнула, да прямо по ноги Ивашке:

— Геть!

Надо оленей скорей собрать да прочь с этого места куда глаза глядят, чтоб хворь не слопала вместе с бабой.

Ивашка зачерпнул из болота в берестяное ведерко воды и просунул на рогульке больному отцу в чум. Баба олениной вяленой в тряпицу завязала. Ивашка поддел узелок рогулькой и тоже в чум, под самый рот старому Илейке.

— Эй, отыркон, старик!—крикнул Ивашка и опасливо заглянул в щелку чума.

Илейко лежал вниз лицом, тяжело мычал и чавкал губами. Перед ним теплился, угасая, костер.

— Ну, чего?—полюбопытствовала жена.

— Не знаю. То ли он болезнь жрёт, то ли она его гложет. Тьфу!

Старик завозился, застонал.

— Пойдем скорей,—заторопилась баба.

* * *

Солнце еще не пробудилось, знать, глаза росой промывает, знать, в зарю рядится, а свет уж выпил тьму: засерело кругом, туманы заклубились, дятел топором стучит.

Принюхивается Ивашка—грибами пахнет, мокрым мохом; принюхивается Ивашка, куда путь дальше править,—смолистый ветерок трясет-обсушивает хвои. Хорошо бы тут встать, на поляне, отдохнуть. Поляна вся в цвету, красной земляникой, как кровавым дождем, обрызгана, ключик течет, такой светлый.

— Чего стоишь? Пойдем!—кричит баба.

Пошли. Солнце сквозь вершин пробрызнуло. Наступило утро. Ивашка вздрагивал и хватался за голову.

— Ты чего?—встревожилась жена.

— Голова... Чего-то...

— Надо дорогу заломать, а то нагонит.

— Йе,—подтвердил Ивашка и, прикрякнув, срубил острой пальмой елку. Елка упала поперек тропы. Он сделал в ней расщеп и стал подманивать собаку.

— Бойда, нох-нох...

Бойда поджала ухо—не поглянулся ей хозяин—и только хотела в сторону—а баба скок:

— На, держи... тащи!

Собака заскулила. Ивашка сгреб ее, всунул хвостом в расщеп и крепко-накрепко скрутил концы вицей.

Бойда визжала, дергалась, выла жалобно: больно ей, страшно одной в лесу: чуяла Бойда, кинут ее люди.

Взглянул на нее Ивашка — черные глаза ее стали влажными, плачущими, как у человека.

— Ты самый друг. Кто верней тебя?.. Карауль, не пускай болезнь, лай пуще!—В последний раз огладил он собаку, едва вздохнул.

— Айда!—крикнула баба.

Караван дальше двинулся.

И под гору спустились, и на лысую вершину взобрались, где солнце лучи свои рассыпало, а собачий страшный зов всё еще разрывал тайгу.

— Ой ты, как скучает... Пойдем скорей,—заплакала уши баба.

Ивашка мотал головой, вздыхал, сморкался.

Двадцать дней тунгусы тянулись. Далеко ушли. Болезнь не нагнала, сзади осталась.

* * *

Пождали, пождали старика—не пришел. Ну, значит, слопала его болезнь. Это ничего, зато сами живы.

Осень приходила с красным листом, с желтым листом, с морозом. Травы сединой взялись, зори были в золоте, с севера белые тучи наплывали, и уж на вершины каменных сопок выпал снег.

Зима настала сразу, вдруг. Еще вечером тепло было, зелено, только сопки в белых шапках, а утром, глядь—белым-бело, по колено снегу за ночь грохнуло, вся туча в тайгу легла.

Набрел на Ивашку хороший его товарищ, Чумго, белку промышлял, и говорит:

— Вот я у торгового был, чудо видел.

Ивашка зачмокал губами, с любопытством развесил уши.

— Из города птицу привез торговый. За морем, говорит, такая птица водится. Пья-тухх... Ну и птица. Под мордой борода трясется, на башке гребень. Песни поет. Громко-громко.

— Продажный, нет?—сплюнув сквозь зубы, спросил Ивашка.

— Нет, — уверенно сказал Чумго. — Уж очень занятная птица. Ночью поет. Как схлопает крыльями, да ку-ри-ку! так все шайтаны, сколько есть на свете, сразу скрозь землю проваливаются. Страх как боятся.

— Йе-е, удивленно протянул Ивашка и сложил свои сморщенные губы сердечком.—А не врешь?

— Ну!—обиделся Чумго.—Сам видел: как гаркнет ночью: ку-ри-ку!—я чуть не сдох.

— А может продажный?—еще раз спросил Ивашка и прищурил правый глаз.

— Однако, нет,—раздумчиво проговорил Чумго.—Я так думаю, она и хворь у русских прогоняет: как гаркнет ку-ри-ку!—хворь разом вон, да ну бежать без передыху.

— Йё!—радостно сказал Ивашка.—Такую птицу надо купить. Как такую добрую птицу не купить.

Ивашка далеко проводил в тайгу своего друга Чумго. Всю дорогу разговаривали о неслыханной птице и решили: чего бы ни стоило—добыть её.

— Когда возьмем, бойё, *) птицу, вместе жить станем. Я рядом поставлю чум. Пьятухх! Все шайтаны провалятся. Весело заживем, бойё, счастливо.

II.

Торговый человек Петр Абрамыч Трындин уже седьмой год живет в вершине речки Бирьякана, в глухой тайге: до ближнего села и то верст полтыщи, как небольше. За всё время только два раза выезжал в село, очень труден путь. Сначала один жил, потом жену приплавил, приказчика Спиридона с семьей, обзавелся хозяйством: корова была с лошаденкой, кошка, шесть собак. Бывало, придут тунгусы за покупками, только языками прищелкивают, разглядывая лошадь и корову,—впервые видят.

— От так зверь!

А прошлой весной привез торговый горластого петуха и двух молодок. С курицами как-то веселее стало: клохчут, яйца несут, цыплят выводят. А петух, как урядник на ярмарке,—гордо ходит, за порядком следит.

Вот и зима отлютовала, весна идет, понесло дурманным хвойным духом. Но приказчика Спиридона, долгобородого, на кривых ногах мужика, ничего не радовало: баба всю зиму хворала, лопата-лопатой сдела-

*) Бойё—приятель, друг.

лась, а с весны ребеночек их всё животом скучал, да на второй день Пасхи... пришлось гробовину делать.

— Не тужи. Еще трое остались у тебя, хватит,— утешал хозяин.

А хозяйка, Домна Степановна, обнявшись с Дарьей, сидели на завалинке и выли в голос. Горько без священника ребенка зарывать, без отпеванья. Вот она, тайга! Вот оно где горе-то.

* *

И вечер прошел, и ночь. Гробик в чистой комнате поставили, по углам зеленые пихты укрепили, на пол набросали хвой.

В ночь весенним туманом обволокло тайгу, и утро было в тумане.

Спиридон могилу на угорине под вековечным кедром рыл.

Слышит сквозь туман переливчатый гортанный крик, словно песня:

— А-гы-ый-лё! А-го-о-ой.

Прислушался, бросил лопату, да бегом к хозяину:

— Орда идет!

— Ну! Неужто тунгусы? Ах, черт-те дери! Вот беда,—засуетился Петр Абрамыч, и его румяное лицо вдруг побагровело.—Малютка-то. Гробик-то... Ах, ты, Боже мой.

— Эй! живой ли?.. Петрушке-ей!..—звенели, приближаясь голоса.

— Живой, живой! Иди!—закричал торговый, приставив ко рту сложенные щитком руки.—Ах ты... Как же быть?...—обратился он к приказчику.—Прикрой плотней дверь-то в комнату... В кухне почаюем. А то увидят гроб, сбегут.

Приказчик кинулся домой.

— Всё ли хорош? Здоров ли?—показались Ивашка с Чумго.—Хворь не живет-ли у тебя?

— Всё благополучно, заходите,—улыбаясь пошел торговый им навстречу.—А у вас как?

— Плёхо,—сказал печально Ивашка.—Вот батька сдох маленько... совсем кончал. У Чумго брат сдох да матка. Плёхо.

— А-я-яй, а-я-яй,—притворно крутил рыжей бородой Петр Абрамыч, шагая с тунгусами к дому.

* *

На столе кипел самовар. Домна Степановна, переваливаясь, как утица, плавала по кухне с тарелками, бутылками, а у печки копошилась с заплаканными глазами Дарья.

— Якши,—сказал Ивашка, нюхнув вкусный воздух, и закрестился на бутылки.

— Ну, с праздничком,—сказал торжественно хозяин.—Пасха, ведь, праздник. На-ка, выкушайте водочки. Христос воскресе!

— Воскресь дак воскресь... Ладна.

Распоясались, вспотели. Вино крепкое. Пили молча. В головы хмельной угар вползал.

Вдруг Чумго подмигнул Ивашке и заголосил:

— Куре-куку-у!..

— Ньятух!—прыснул смехом Ивашка.—Кажи пожалуста, давай сюда птиса. Купить будем.—Он вытащил из-за пазухи большой кожаный кисет и звякнул:

— Во!

У торгового глаза зашмыгали, как мыши в клетке. Он подбоченился, перекинул ногу на ногу и, глядя в сторону, забарабанил по столу:

— Что-ж... можно. Эй, Дарья, поймай-ка скорей петуха! Можно и продать. У нас заветного ничего нет,—равнодушно тянул он, но голос его вилял.

Тунгусы нетерпеливо задвигались, закашляли, поглядывая вслед скрывшейся кухарке.

Вот раздалось тревожное клохтанье, отворилась дверь: крупный красивый петух, спрыгнув с рук Дарьи, гордо огляделся и пустил горлом хрипунок.

— Йе!—восторженно покачали головами тунгусы и захохотали, когда петух вдруг клюнул проползавшего таракана.

— Эй, Петрушка! Вели: пущай гаркат. Ку-ре-ку!

Петух захлопал крыльями, привстал на цыпочки и так громко скукарекал, что тунгусы, разинув рот, схватились друг за друга.

— От так рявкат. Ровно медведь,—испуганно шептали они.

— Вы чего ж, чудаки, боитесь? На, гляди. Он смирный,—поднес Петр Абрамыч петуха.

Петух долбанул клювом желтую бусину на груди Ивашки.

— Заест!—вскричал Ивашка и стукнулся затылком в стену.

А Чумго храбро крикнул:

— Вели: пущай опять гаркат!

— Ха, вели. Ведь он не человек. А вот он ночью запоет, так запоет... Как полночь, так и хватит.

— Неужли правда? Ах ты...—причмокнул Ивашка.

— О-о, да еще как. Всем чертям погибель от него,— хвастал торговый.—Ну, сколько дашь?

— Много дам!.. Тайга больно надо такая птица... Боронн Бог. У-у-у...—Ивашка даже закатил глаза.— Сколько хошь бери--птица давай.

— Ну, дак чего. Клади сотнягу серебром, да десяток соболько́в, што ли,—загнул купец. Тунгусы шопотом совещались.

А петух, взлетев на скамейку, схлопал крыльями, заголосил—и это решило дело:

— Давай, друг! Пожалуста давай.

— Так и быть. Берите. Царский петух... Прямо царский. Только уж для вас. Царская птица называется. От самого царя.

— О-о! Неужто? Давай скорее!—еле дыша звякнул Ивашка денежной мошной.

В эту минуту, из комнаты, где был гроб, выбежала босоногая Акулька, Спиридона дочь.

— Закрой дверь! Дверь!!—бросился торговый.

Но Ивашка успел увидеть стоявший по соседству гроб. Дико, как под ножом, он вскрикнул:

— Плут! Обманщик! Хворь у него! Чумго, убегай!..— вскочил на стол, выбил ногами раму и выпрыгнул за окно. За ним—ополоумевший Чумго.

Дробно стуча сапогами по леснице, торговый за ними следом:

— Дружки! Стой!.. Ведь, маленький, маленький... От животика! Не бойся!

Сверкая пятками, тунгусы мчались во весь дух, с треском, с хрустом, с диким воплем.

* * *

Запыхавшийся Петр Абрамыч ввалился в дом, как грозовая туча.

— Дьяволы! Погубили!—заорал он и грохнул по столу - Ведь теперь они по всей тайге разблаговестят.. Ни один чорт носа не покажет.

Он схватил забытую Ивашкой рваную шапченку, с размаха хлестнул ею приказчика:—У-у, дьявол!—и яростно бросил ее в лохань.

У приказчика хлынули слезы, он закрыл ладонями лицо, повалился на стол, всхлипнул:

— Петр Абрамыч, побойся Бога... Пасха... Горе у меня... Младенчик.

— Пасха?! Горе?!. А у меня радость... Плясать, может, велишь, а?!

Он сорвал с гвоздя ружье, прицелился в стоявшего на одной ноге петуха и, выстрелив, снес ему голову. Обезглавленная царская птица долго летала по избе, обливая пол кровью.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
От редакции	3
ПОЭТЫ:	
Георгий Адамович .	7
Анна Ахматова .	9
Наталия Грушко . .	10
В. Зоргенфрей .	12
Георгий Иванов	14
М. Кузмин . . .	16
Сергей Нельдихен	17
Ирина Одоевцева	18
Ник. Оцуп	20
Надежда Павлович . .	22
Елизавета Полонская . .	24
Вл. Пяст	25
Анна Радлова	27
Всеволод Рождественский	29
Федор Сологуб	31
Николай Тихонов	33
Владислав Ходасевич	35
БЕЛЛЕТРИСТЫ:	
Евгений Замятин	41
Мих. Зощенко .	44
Всеволод Иванов.	49
В. Ирецкий	59
В. Муйжель	68
Вас. Немирович-Данченко	77
Ник. Никитин	82
Алексей Ремизов . .	88
Михаил Слонимский .	95
Конст. Федин	99
Ольга Форш . .	103
Мариэтта Шагинян . .	111
Вяч. Шишков	119

Центральное Кооперативное Издательство

„Мысль“.

Новые издания:.

И. Гумилев—Мик.
Н. Гумилев—Фарфоровый павильон.
Г. Иванов—Лампада, сборник стихов.
М. Лозинский—Горный ключ, сборник стихов.
Ю. Верховский—Солнце в ограде, сборник стихов.
И. Одоевцева—Двор чудес, сборник стихов.
М. Шкапская—Час вечерний, сборник стихов.
Альманах „Мысль“.

Академ. В. И. Палладин—Невидимые живые существа.
Академ В. И. Палладин—Физиология растений в 3 част.
Проф. И. Якимов—Паразиты человека.
Проф. А. С. Догель—Старость и смерть.
Проф. Г. Д. Белоновский—Популярные очерки по бактериологии.

Проф. А. А. Еленкин—Грибы.
Проф. Л. М. Лялин—Пчелы и их переработка.
Н. А. Крюков—Продукты птицеводства.
Н. А. Крюков—Мясо и мясные продукты.

Проф. И. М. Кулишер—Лекции по истории экономического быта Западной Европы. 6-е переработ. издание.

АДРЕС:

Петроград, Ковенский пер., № 11.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„Наука и Школа“

Литейный пр., № 36.

Выпускает книги по истории, истории литературы, философии и социологии.

Подробный каталог на 1922 г. высылается по требов. за 50 коп.

Издательство „Petropolis“

объявляет предварительную подписку на издания:

1. *Леконт де Лиль*—„Эринеи“

Перевод М. Лозинского. Сценические указания В. Н. Соловьева Эскизы декораций и костюмов А. Я. Головина.

Цена по подписке 10 руб.

2. К столетию со дня смерти *Э. Г. А. Гофмана*—„Двойники“

Перевод Вячеслава Иванова. Иллюстрации А. Я. Головина.

Предварительный взнос 10 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ПАРѲЕНОН“

(Загородный, 23, кв. 57, и Троицкая, 51-17, кв 164).

Вышли из печати и готовятся книги по истории литературы, искусства, общественности, по изящной литературе.

В изданиях «Парѳенона» участвуют: А. Л. Волынский, Е. И. Замятин, Н. С. Лесков, Б. Л. Модзалевский, С. Ф. Ольденбург, Н. А. Гяст, Р. И. Сахтов, Н. А. Тырса, Вяч. Я. Шишков, П. Е. Щеголев и др. ученые и писатели.

ЛЕТОПИСЬ

ДОМА ЛИТЕРАТОРОВ

Литературно-исследовательский и критико-библиографический журнал

ВЫХОДИТ В ПЕТЕРБУРГЕ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ.

В вышедших №№ 1—5 приняли участие: В. А. Азов, Е. М. Браудо, Н. М. Волковысский, И. В. Вольфсон, А. Г. Горнфельд, П. К. Губер, Люб. Я. Гуревич, А. С. Долинин, Д. О. Заславский, Ф. Ф. Зелинский, Георгий Иванов, А. А. Изгоев, В. Я. Ирецкий, А. Е. Кауфман, В. С. Кривенко, А. Ф. Кони, Н. Котляревский, Я. Б. Лившиц, А. М. Михайлов, Б. Л. Модзалевский, А. Б. Петрищев, А. Н. Рашковская, А. М. Редько, Ю. Н. Тынянов, Б. И. Харитон, К. И. Чуковский, Мариэтта Шагинян, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум.

Статьи, рецензии, материалы, обширная русская и заграничная хроника.

Помещены: неизданные стихотворения Пушкина, Некрасова и Блока, письма Некрасова и Чехова.

Адрес редакции: **Петербург, Бассейная, 11, Дом Литераторов.**

Адрес конторы: **Петербург, Пр. Володарского (б. Литейный), д. 25, кв.**

«Летопись Дома Литераторов» продается во всех книжных магазинах Петербурга, Москвы и больших провинциальных городов. Объявления в «Летописи Дома Литераторов» печатаются по цене 10.000 руб. за строку петита или занимаемое ею место.